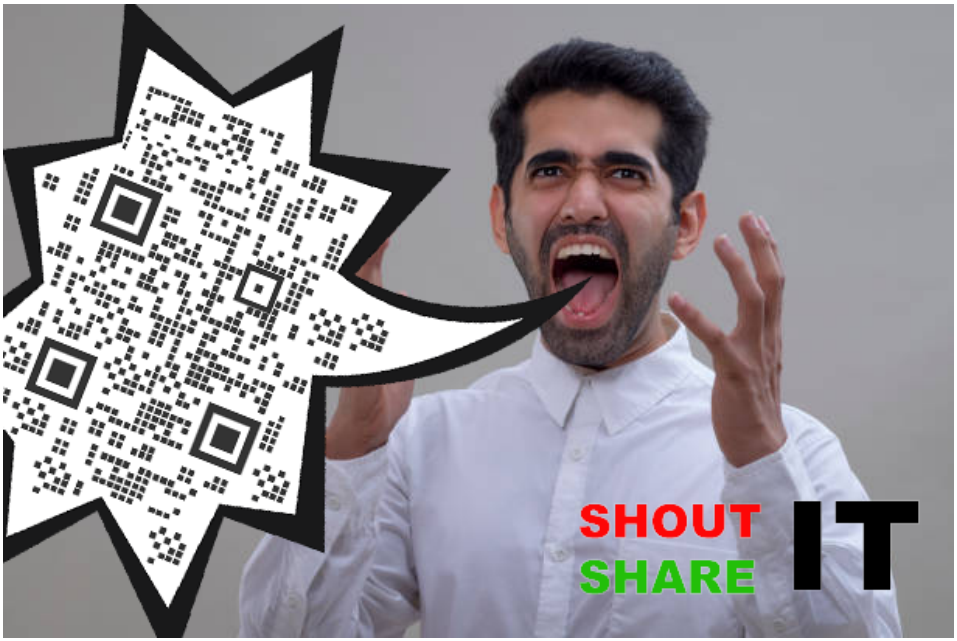
ВЛАДИМИР

НАБОКОВ

Другие берега

АЗБУКА-КЛАССИКА


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Другие берега» — ярчайший роман той набоковской серии, которую критики называли русскоязычной «хроникой утраченного времени» и «Шагалом, исполненным в слове».

«Другие берега». Берега памяти, берега детства. Ибо от них — и только от них — лежит путь великого писателя. Крестный путь — скорбный путь, via dolorosa, — объединяющий Набокова со всей русской эмиграцией. Путь в вечность, вымощенный блистательными словесными озарениями, ставящий Набокова особняком даже в плеяде «русского Зарубежья». Все начинается с детства. С первых слов. Потому что — «в начале было Слово…»

- Владимир Набоков
  - ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
  - ГЛАВА ПЯТАЯ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

ГЛАВА ШЕСТАЯ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
- 1
- 2
- 3

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
- 1
- 3
- 4

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
- 1
- 3
- 4

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
- 1
- 2

- 3
- 4
- 5

○ ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
- 1
- 2
- 3
- 4

○ ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
- 1
- 2
- 3

Владимир Набоков
Другие берега

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагаемая читателю автобиография обнимает период почти в сорок лет-с первых годов века по май 1940 года, когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель— описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон.

Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание, «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство» (англ.)). Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который, до того, как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишком лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого-или Иванова, няни, русской публицистики— словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставанья с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня.

Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английских сочинениях, как например «The Real Life of Sebastian Knight» («Истинная жизнь Себастьяна Найта» (англ.)); есть кое-что удовлетворяющее меня в «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных» (англ.)) и некоторых отдельных рассказах, печатавшихся время от времени в журнале «The New Yorker». Книга «Conclusive Evidence» писалась долго (1946–1950), с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад — музыкально недоговоренный русский, — а

навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно — покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык.

Недостатки объявились такие, так отвратительно таращилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: «Позвольте представиться, — сказал попутчик мой без улыбки, — моя фамилия N.». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь», — закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись, окна в отдельных домах… Вот звон путеводной ноты.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, в которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением, прямо паническим, просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствия не замечает и по нем не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба; коляска была пуста, как будто «при обращении времени в мнимую величину минувшего», как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли.

Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать: коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так давайте же ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте (говорит читатель) навяжем ему меру.

Против всего этого я решительно восстаю. Я готов, перед своей же земной природой, ходить, с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик. Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни? Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль — но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от

своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня.

Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах — и раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю се темную средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие.

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы-моего младенчества.

Я вижу пробуждение самосознания, как череду вспышек с уменьшающимися промежутками Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я-я, а мои родители — они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток — и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, — между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Все это соответствует теории онтогенического повторения пройденного.

Филогенически же, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени.

Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретилась в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое (совершенное при воплях полуутопленного полувиктора, — звонко, из-за двери, мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил — как делишь, плещась, яркую морскую воду — с другими купающимися в ней существами.

Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, — моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку, — отец. Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей, — длинную, прямую, обсаженную дубками, — прорезавших «новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года; и глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого, оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами; но теперь, при созвучии трех цифр, крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери; и потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день вероятно надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания — что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени, несомненно были и первыми, умевшими улыбаться.

2

Первобытная пещера, а не модное лоно, — вот (венским мистикам наперекор) образ моих игр, когда было три-четыре года.

Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в эру доисторическую. История начинается неподалеку от него, с флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых соцветий пьедестал мраморный Дианы, на которой сидит муха.

Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом кретоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами; раненого барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками и неуязвимого среди этой застывшей возни, бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба.

С помощью взрослого домочадца (которому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным коленом), диван несколько отодвигался от стены (здравствуйте, дырочки штепселя). Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением.

Делалось душно и страшно, в коленку впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой давящей мгле, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы.

Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему; и весь вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку.

Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра, — когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла, и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей.

Заодно воскресает образ моей детской кровати, с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор

не выпал; и, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как бывало я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи! Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спеленатые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой.

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям; но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях — классическая поза детства! — на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем.

Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения: это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно не существующем тяжелозвонном traine de luxe (Экспресс (франц)), вагоны которого были окрашены понизу в кофейный цвет, а поверху — в сливочный.

Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненую шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замираньем я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства.

Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, — и в силу этой гармонии, они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности.

И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки

были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова — с каким-нибудь кудрявым, смазливым мальчиком, управлявшим оркестром или укрощавшим гремучий, громадный рояль, у пальмы, на освещенной как Африка сцене, но впоследствии становящимся совершенно второстепенным, лысоватым музыкантом, с грустными глазами и какой-нибудь редкой внутренней опухолью, и чем-то тяжелым и смутно-уродливым в очерке евнушьих бедер.

Пусть так, но индивидуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водяной знак, который сам различаю только подняв ее на свет искусства.

3

Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг. Но в иных случаях хронология ложится у ног с любовью. Вижу, например, такую картину: карабкаюсь лягушкой по мокрым, черным приморским скалам; мисс Норкот, томная и печальная гувернантка, думая, что я следую за ней, удаляется с моим братом вдоль взморья; карабкаясь, я твержу, как некое истое, красноречивое, утоляющее душу заклинание, простое английское слово «чайльдхуд» (детство); знакомый звук постепенно становится новым, странным, и вконец завораживается, когда другие «худ» ы к нему присоединяются в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу-"Робин Х) д" и «Литль Ред Райдинг Худ» (Красная Шапочка) и бурый куколь («худ») горбуньи-феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и бормоча, я как бы колдую над этими васильковыми купелями.

Место это конечно Аббация, на Адриатике. Накануне в кафе у фиумской пристани, когда уже нам подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров-и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту.

Время, значит, 1904 год, мне пять лет. Лондонский журнал, который выписывает мисс Норкот, со смаком воспроизводит рисунки японских корреспондентов, изображающих, как будут тонуть совсем на вид детские — из-за стиля японской живописи — паровозы русских, если они вздумают провести рельсы по байкальскому льду.

У меня впрочем есть в памяти и более ранняя связь с этой войной. Как-то в начале того же года, в нашем петербургском особняке, меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на оттоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: «Вот это-море-в тихую-погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: «А вот это-море в бурю». Тут он смешал спички и собрался было показать другой-может быть лучший— фокус, но нам помешали. Слуга ввел адъютанта, который что-то ему доложил.

Суетливо крякнув, Куропаткин, в полтора как говорится

приема, встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной Армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись: пропала и его армия; провалилось все; провалилось, как проваливались сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля, зимой 1904–1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста.

4

Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго-целый год— за границей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом отдающий восторг возвращения на родину — опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого как будто и требует музыкальное разрешение жизни.

Итак переходим к лету 1905 года: мать с тремя детьми в петербургском имении; политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам, в Выру, он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем (помнится, кроме таких слов, как «какао», я ничего по-русски не мог прочесть). Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять.

Каким веселым звуком, под стать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартыновичем! У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь) русые усы и светло-голубые, цвета моей молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке.

Рукопожатие его было крепкое и влажное. Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак.

Ко мне, ребенку, он обращался на вы, как взрослый к взрослому, то есть совершенно по-новому, — не с противной чем-то интонацией наших слуг, конечно не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери (когда мне случалось хватиться самого крохотного пассажира, или оказывался у меня жар, и она переходила на вы, словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груз ее обожания). Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком, ошпаривая человека,

«красный»; мой отец его вытащил из какой-то политической истории (а потом, при Ленине, его по слухам расстреляли за эсэрство). Брал он меня чудесами чистописания, когда, выводя «покой» или «люди», он придавал какую-то органическую густоту тому или другому сгибу, точно это были готовые ожить ганглии, чернилоносные сосуды. Во время полевых прогулок, зави-дя косарей, он сочным баритоном кричал им «Бог помощь!» В дебрях

наших лесов, горячо жестикулируя, он говорил о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о тяжкой необходимости взрывать тиранов динамитом. Когда же он потчевал меня цитатами из «Долой оружье!» благонамеренной, но бездарной Берты Зуттнер, я горячо восставал в защиту кровопролития, спасая свой детский мир пружинных пистолетов и артуровых рыцарей.

С помощью Василия Мартыновича Мнемозина может следовать и дальше по личной обочине общей истории. Спустя года полтора после Выборгского Воззвания (1906), отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью беззаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи, А. И. Каминка. Мы были в деревне, когда его выпустили; Василий Мартынович руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками — из зелени — и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу, — сперва шедшую между Старым Парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошеных полей, — а дальше: поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец: шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб; флаги перед новым, каменным, зданием сельской школы рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую собачонку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, когда она очутится вровень с коляской.

5

В это первое необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством. Не раз случалось, что, во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой вырского дома, буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом сообщая (при гостях шепот становился особенно шепеляв), что пришли мужики и просят его выйти к ним Быстро переведя салфетку с колен на скатерть и извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из восточных окон выходило на край сада у парадного подъезда; оттуда доносилось учтивое жужжанье, невидимая гурьба приветствовала барина. Из-за жары окна бы ли затворены, и нельзя было разобрать смысл переговоров: крестьяне, верно, просили разрешенья скосить или срубить что-нибудь, и если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его, по старинному русскому обычаю, дюжие руки раскачивали и подкидывали несколько раз.

В столовой, между тем, братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, готовясь снять двумя пальцами с вилки комочек говядины, заглядывала вниз, под воланы скатерти, там ли ее сердитая и капризная такса. «Un jour ils vont ie laisser tomber» («Когда-нибудь они его уронят» (франц.)), — замечала M-lle Golay, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая жить у нас в доме, всегда кислая, всегда в ужасных отношениях с детскими англичанками и француженками. Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыблился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, царят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мреении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того,

кто лежит там, среди плывучих огней, в еще не закрытом гробу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых, галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а проку от них нет никакого. Вещие голоса, останавливающие Сократа и понукавшие Жанну д'Арк, сводятся в моем случае к тем обрывочным пустякам, которые — подняв телефонную трубку — тотчас прихлопываешь, не желая подслушивать чужой вздор. Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли.

Присоединяется, иначе говоря, неизвестный абонент, безличный паразит; его трезвый, совершенно посторонний голос произносит слова и фразы, ко мне не обращенные и содержания столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы нечаянно не заострить хоть слабым смыслом тупость этого буб-нения. Ему есть и зрительный эквивалент — в некоторых предсонных образах, донимающих меня, особенно после кропотливой работы. Я имею в виду, конечно, не «внутренний снимок» — лицо умершего родителя, с телесной ясностью возникающее в темноте по приложении страстного, героического усилия; не говорю я и о так называемых muscae volitantes (Перелетающие мухи (лат.)) — тенях микроскопических пылинок в стеклянистой жидкости глаза, которые проплывают прозрачными узелками наискось по зрительному полю, и опять начинают с того же угла, если перемигнешь. Ближе к ним — к этим гипногогическим увеселениям, о которых идет неприятная речь, — можно пожалуй поставить красочную во мраке рану продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. У меня вырастали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих живописных призраков, медленно и ровно развивающихся перед закрытыми глазами. Их движение и смена происходят вне всякой зависимости от воли наблюдателя и в сущности отличаются от сновидений только какой-то клейкой свежестью, свойственной переводным картинкам, да еще тем, конечно, что во всех их фантастических фазах отдаешь себе полный отчет. Они подчас уродливы: привяжется, бывало, средневековый, грубый профиль, распаленный вином карл, нагло растущее ухо или нехорошая ноздря. Но иногда, перед самым забытьем, пухлый пепел падает на краски, и тогда фотизмы мои успокоительно расплываются,

кто-то ходит в плаще среди ульев, лиловеют из-за паруса дымчатые острова, валит снег, улетают тяжелые птицы.

Кроме всего я наделен в редкой мере так называемой audition coloree — цветным слухом. Тут я мог бы невероятными подробностями взбесить самого покладистого читателя, но ограничусь только несколькими словами о русском алфавите: латинский был мною разобран в английском оригинале этой книги.

Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение создается по-моему осязательным, губным, чуть ли не вкусовым чутьем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор.

Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию «структурных» красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.

Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я, В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ.

Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем В), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжеватым Е, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЕЕПСКЗ).

Исповедь синэстета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я

строил замок из разноцветных азбучных кубиков — и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее, как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но увы, для меня музыка всегда была и будет лишь произвольным нагромождением варварских звучаний. Могу по бедности понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме», да еще всякие испанские спазмы и звон, — но концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших-оголение всех нервов и даже понос.

Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего вырастал куст персидской сирени в райском цвету! Какую муку и горе я испытывал, когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины, ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное, измерение! Как я любил кольца на материнской руке, ее браслеты!

Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую груду драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти струящиеся диадемы и ожерелья не уступали для меня в загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек — сапфировых, изумрудных, рубиновых, — глухо горели над отороченными снегом карнизами домов.

2

Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве, до десяти что ли лет, я был отягощен исключительными, и даже чудовищными, способностями к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей, на редкость бездарной во всех смыслах, юности (от пятнадцати до двадцати пяти лет). Математика играла грозную роль в моих ангинах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу. Неосторожный гувернер поторопился объяснить мне-в восемь лет-логарифмы, а в одном из детских моих английских журналов мне попалась статейка про феноменального индуса, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, приятного числа, как 352947114576027513230189734205586617139 2 (кажется, 212, но это неважно). От этих монстров, откормленных на моем бреду и как бы вытеснявших меня из себя самого, невозможно было отделаться, и в течение безнадежной борьбы я поднимал голову с подушки, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь мои смещенные логикой жара слова она узнавала все то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве, и каким-то образом помогала моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютонову классическому образцу.

Будущему узкому специалисту-словеснику будет небезынтересно проследить, как именно изменился, при передаче литературному герою (в моем романе «Дар»), случай, бывший и с автором в детстве. После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным вы-здоравливаниям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен). Я различал все: гнедого рысака, его храп, ритмический щелк его мошны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерской зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке: они показывали двадцать минут третьего. Мать

в вуали, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой.

Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги: он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня.

Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконного (еще не спустили штор) прошлого.

Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой, удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было, или не совсем можно было, за деньги купить (приказчику пришлось сначала снестись с неким доктором Либнером, точно дело было и впрямь врачебное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острие, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину: надобно отдать справедливость Фаберу и Либнеру, с их стороны это было сущее «искусство для искусства». «О, еще бы, — говаривала мать, когда бывало я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением, — еще бы, это я хорошо знаю…». И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз

виденного» (le deja vu). Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени), были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе, это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего.

Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, — стройную действительность прошедшей и предстоящей яви.

3

Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе — таково было ее простое правило. «Вот запомни», — говорила она с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положеньях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми семеро из девяти их детей, и память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными дужками ее девичества, украшала мифологическими виньетками Выру, Батово и Рождествено на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом я унаследовал восхитительную фатаморгану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество-и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь" Материнские отметины и зарубки были мне столь же дороги, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию, и отмеченный — тогда молодой, теперь почти шестидесятилетней — липою подъем в деревню Грязно, перед поворотом на Даймищенский боль-шак, — подъем, столь крутой, что приходилось велосипедистам спешиваться, — где, поднимаясь рядом с ней, сделал ей предложение мой отец, и старая теннисная площадка, чуть ли не каренинских времен, свидетельница благопристойных перекидок, а к моему детству заросшая плевелами и поганками.

Новая теннисная площадка — в конце той узкой и длинной просади черешчатых дубков, о которых я уже говорил — была выложена по всем правилам грунтового искусства рабочими, выписанными из Восточной Пруссии. Вижу мать, отдающую мяч в сетку — и топающую ножкой в плоской белой туфле. Майерсовское руководство для игры в лоун-теннис перелистывается ветерком на зеленой скамейке. С добросовестными и глупыми усилиями бабочки-белянки пробивают себе путь к проволочной ограде вокруг корта.

Воздушная блуза и узкая пикейная юбка матери (она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи) принадлежат к той же эпохе, как фланелевые рубашки и штаны мужчин. Поодаль, за цветущим лугом, окружающим площадку, проезжие мужики глядят с почтительным удивлением на резвость господ, точно так же как глядели на волан или серсо в восемнадцатом веке. У отца сильная прямая подача в классическом стиле английских игроков того времени, и, сверяясь с упомянутой книгой, он все справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать — отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча, как полагается.

Мать любила и всякие другие игры, особенно же головоломки и карты. Под ее умело витающими руками, из тысячи вырезанных кусочков постепенно складывалась на ломберном столе картина из английской охотничьей жизни, и то, что казалось сначала лошадиной ногой, оказывалась частью ильма, а никуда не входившая пупочка (материнское слово для всякой кругловатой штучки) вдруг приходилась к крапчатому крупу, удивительно ладно восполняя пробел — вернее просинь, ибо ломберное сукно было голубое. Эти точные восполнения доставляли мне, зрителю, какое-то и отвлеченное и осязательное удовольствие.

В начале второго десятилетия века у нее появилась страсть к азартным играм, особенно к покеру; последний был занесен в Петербург радением дипломатического корпуса, но, по пути из далекой Америки пройдя через сравнительно близкий Париж, он пришел к нам оснащенный французскими названиями комбинаций, как например brelan и couleur. Технически говоря, это был так называемый draw poker с довольно частыми jack-pot'ами и с джокером, заменяющим любую карту. Мать иногда играла до четырех часов утра и впоследствии вспоминала с наивным ужасом, как шофер дожидался ее во всю морозную ночь; на самом деле чай с ромом в сочувственной кухне значительно скрашивал эти вигилии.

Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы.

В оригинале этой книги мне пришлось подчеркнуть само собою понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле. Но, разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как например то, что сыроежки или там рыжики, и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочно и округло построенные виды из рода Boletus, боровики, подберезовики,

подосиновики. В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудесных растеньиц вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом — смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, — от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках или мрамористый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика, Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой — вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи; бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое казалось бы должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.

Около белой, склизкой от сырости, садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посредине. Она считает и сортирует их. Старые, с рыхлым исподом, выбрасываются; молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом, солнце бывало бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной, изогнутой ножке прилип родимый мох; и крохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки все мерила что-то и изредка вытягивалась вверх, ища никому неизвестный куст, с которого ее сбили.

4

Все, что относилось к хозяйству, занимало мою мать столь же мало, как если бы она жила в гостинице. Не было хозяйственной жилки и у отца. Правда, он заказывал завтраки и обеды. Этот ритуал совершался за столом, после сладкого.

Буфетчик приносил черный альбомчик. С легким вздохом отец раскрывал его и, поразмысливши, своим изящным, плавным почерком вписывал меню на завтра. У него была привычка давать химическому карандашу, или перу-самотеку, быстро-быстро трепетать на воздухе, над самой бумагой, покуда он обдумывал следующую зыбельку слов. На его вопросительные наименования блюд мать отвечала неопределенными кивками или морщилась.

Официально в экономках числилась Елена Борисовна, бывшая няня матери, древняя, очень низенького роста старушка, похожая на унылую черепаху, большеногая, малоголовая, с совершенно потухшим, мутно-карим взглядом и холодной, как забытое в кладовой яблочко, кожей. Про Бову она мне что-то не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Олиньке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас).

Она была на семьдесят лет старше меня, от нее шел легкий, но нестерпимый запах — смесь кофе и тлена — и за последние годы в ней появилась патологическая скупость, по мере развития которой был потихоньку от нее введен другой домашний порядок, учрежденный в лакейской. Ее сердце не выдержало бы, узнай она, что власть ее болтается в пространстве, с ее же ключничьего кольца, и мать старалась лаской отогнать подозрение, заплывавшее в слабеющий ум старушки. Та правила безраздельно каким-то своим, далеким, затхлым, маленьким царством — вполне отвлеченным, конечно, иначе бы мы умерли с голоду; вижу, как она терпеливо топает туда по длинным желтым коридорам, под насмешливым взглядом слуг, унося в тайную кладовую сломанный петн-бер, найденный ею где-то на тарелке. Между тем, при отсутствии всякого надзора над штатом в полсотни с лишком человек, и в усадьбе и в петербургском доме шла веселая воровская свистопляска. По словам пронырливых старых родственниц, заправилами был повар, Николай Андреич, да старый садовник, Егор, — оба необыкновенно положительные на вид люди, в очках, с седеющими висками — словом, прекрасно загримированные под преданных слуг. Доносам старых родственниц никто не верил, но увы, они говорили правду. Николай Андреич был закупочным гением, и, как выяснилось однажды, довольно известным в петербургских спиритических

кругах медиумом; Егор (до сих пор слышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пытался отвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники к простой клубнике) торговал под шумок господскими цветами и ягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской: мой дядя Рукавишников как-то ездил посмотреть и вернулся с удивленным выражением. При ровном наплыве чудовищных и необъяснимых счетов, мой отец испытывал, в качестве юриста и государственного человека, особую досаду от неумения разрешить экономические нелады у себя в доме. Но всякий раз, как обнаруживалось явное злоупотребление, что-нибудь непременно мешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жулика камердинера, тут-то и оказывалось, что его сын, черноглазый мальчик моих лет, лежит при смерти — и все заслонялось необходимостью консилиума из лучших докторов столицы.

Отвлекаемый то тем, то другим, мой отец оставил в конце концов хозяйство в состоянии неустойчивого равновесия и даже научился смотреть на это с юмористической точки зрения, между тем как мать радовалась, что этим потворством спасен от гибели сумасшедший мир старой ее няньки, уносящей в свою вечность по темнеющим коридорам, уже даже не бисквит, а горсть сухих крошек. Мать хорошо понимала боль разбитой иллюзии. Малейшее разочарование принимало у нее размеры роковой беды. Как-то в Сочельник, месяца за три до рождения ее четвертого ребенка, она оставалась в постели из-за легкого недомогания. По английскому обычаю, гувернантка привязывала к нашим кроваткам в рождественскую ночь, пока мы спали, по чулку, набитому подарками, а будила нас по случаю праздника сама мать и, деля радость не только с детьми, но и с памятью собственного детства, наслаждалась нашими восторгами при шуршащем развертывании всяких волшебных мелочей от Пето. В этот раз, однако, она взяла с нас слово, что в девять утра непочатые чулки мы принесем разбирать в ее спальню. Мне шел седьмой год, брату шестой, и, рано проснувшись, я с ним быстро посовещался, заключил безумный союз, — и мы оба бросились к чулкам, повешенным на изножье. Руки сквозь натянутый уголками и бугорками шелк нащупали сегменты содержимого, похрустывавшего афишной бумагой. Все это мы вытащили, развязали, развернули, осмотрели при смугло-нежном свете, проникавшем сквозь складки штор, — и, снова запаковав, засунули обратно в чулки, с которыми в должный срок мы и явились к матери. Сидя у нее на освещенной постели, ничем не защищенные от ее довольных глаз, мы попытались дать

требуемое публикой представление. Но мы так перемяли шелковистую розовую бумагу, так уродливо перевязали ленточки и так по-любительски изображали удивление и восторг (как сейчас вижу брата, закатывающего глаза и восклицающего с интонацией нашей француженки «Ah, que c'est beau!» («Ах, какая красота!» (франц.))), что, понаблюдавши нас с минуту, бедный зритель разразился рыданиями, Прошло десятилетие. В первую мировую войну (Пуанкаре в крагах, слякоть, здравия желаем, бедняжка-наследник в черкеске, крупные, ужасно одетые его сестры в больших застенчивых шляпах, с тысячей своих частных шуточек) моя мать очень добросовестно, но довольно неумело, соорудила собственный лазарет, по примеру других петербургских дам, — и вот помню ее, в ненавистной ей форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модного милосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемой кротостью искалеченных мужиков. И еще позже — о, гораздо позже — перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя (по-моему — несправедливо), что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответное, как например старые аллеи, старые лошади, старые псы.

Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам.

В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы, среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменок в рукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатных перспектив, — редкая группа обходилась без таксы, с расплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела и всегда с тем странным, психопатически-эвездным взглядом, который у этой породы бывает на семейных снимках. В раннем детстве я еще застал на садовом угреве Лулу и Бокса Первого, мать и сына, столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительный их союз, озадачивший былых детей. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла, удивительной таксичьей красоты, Трэйни. В 1915 году у нее отнялись задние ноги, и пока мать не решилась ее усыпить, бедная собака уныло ездила по паркетам, как cul-de-jatte (Безногий (франц)). Затем кто-то подарил нам внука или правнука чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице далеко позади своей задумчивой хозяйки этого

старого, все еще сердитого Бокса Второго, — эмигрантскую собаку в длинном проволочном намордник и заплатанном пальтеце.

Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня при ней и когда она умерла, в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится сделать усилие, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по не стареющему в сердце образцу. Квартира, которую она делила с внуком и Евгенией Константиновной Г., самым близким ее другом, была донельзя убогой. Клеенчатые тетради, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали на кое-как собранной ветхой мебели. Ужасно скоро треплющиеся томики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовской руки. Около ее кушетки, ночью служившей постелью, ящик, поставленный вверх дном и покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся рамках. Впрочем она едва ли нуждалась в них, ибо оригинал жизни не был утерян. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и дюны под бурей, и замок в тумане, и очарованный остров, — так носила она в себе все, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую, с одной картой в руке, какую-то фазу в раскладке пасьянса; другой рукой она облокотилась об стол, и в ней же, прижав сгиб большого пальца к краю подбородка, держит близко ко рту папироску собственной набивки. На четвертом пальце правой руки-теперь опускающей карту — горит блеск двух золотых колец: обручальное кольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу.

Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутью их дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления, в местах и обстановке, в которых они никогда не бывали при жизни — например, в доме у человека, с которым я познакомился только потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И конечно не там и не тогда, не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи — на мачте, на перевале, за рабочим столом… И хоть мало различаешь во мгле,

все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Восемнадцати лет покинув Петербург, я (вот пример галлицизма) был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею об этом- из соображений технических: при отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов.

Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, на обочье, и не от кривобокого, набокого, как хотелось бы, а от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок.

Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из Древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Данзасами. Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в гек-кернскую карету. Среди моих предков много служилых людей; есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн; есть сибирский золотопромышленник и миллионщик (Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны); есть ученый президент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другой ее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков (брат моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни и комендант С. -Петербургской крепости — той, в которой сидел супостат Достоевский (рапорты доброго Ивана Александровича царю напечатаны — кажется, в «Красном Архиве»); есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец).

Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков: приглашение на шахматную партию, у камина, после облавы в майоратском бору; рукавишниковский же, поновее, представляет стилизованную домну.

Любопытно, что уральские прииски, Алапаевские заводы,

аллитеративные паи в них — все это давно уже рухнуло, когда, в тридцатых годах сего века, в Берлине, многочисленным потомкам композитора Грауна (главным образом каким-то немецким баронам и итальянским графам, которым чуть не удалось убедить суд, что все Набоковы вымерли) досталось, после всех девальваций, кое-что от замаринованных впрок доходов с его драгоценных табакерок. Этот мой предок, Карл-Генрих Граун (1701–1759), талантливый карьерист, автор известной оратории «Смерть Иисуса», считавшейся современными ему немцами непревзойденной, и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен с другими приближенными (среди них-Вольтер) слушающим королевскую флейту, на пресловутой картине Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой. В молодости Граун обладал замечательным тенором; однажды, выступая в какой-то опере, написанной брауншвейгским капельмейстером Шурманом, он на премьере заменил не нравившиеся ему места ариями собственного сочинения. Только тут чувствую какую-то вспышку родства между мной и этим благополучным музыкальным деятелем. Гораздо ближе мне другой мой предок, Николай Илларионович Козлов (1814–1889), патолог, автор таких работ как «О развитии идеи болезни» или «Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц» — в каком-то смысле служащих забавным прототипом и литературных и лепидоптерологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой; я был младенцем, когда она умерла. Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаменитого сифилидолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам; она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были «Теперь понимаю: все — вода». О ней и о разных диковинных, а иногда и страшных, Рукавишниковых у матери было много воспоминаний… Я люблю сцепление времен: когда она гостила девочкой у своего деда, старика Василья Рукавишникова, в его крымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он, юношей, видел Пушкина и его высокую жену, и пока он это рассказывал, на серый цилиндр художника белилами испражнилась пролетавшая птица: его моря темно сизели по разным углам петербургского (а после — деревенского) дома, и Александр Бенуа, проходя мимо них и мимо мертвечины своего брата-академика Альберта, и мимо «Проталины» Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного Перовского «Прибоя» в зале, делал шоры из рук и как-то музыкально-смугло

мычал «Non, поп, поп, c'est affreux (Нет, нет, это ужасно» (франц.)), какая сушь, задерните чем-нибудь"-и с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его, действительно прелестные, дождем набухшая «Бретань» и рыже-зеленый «Версаль» соседствовали с «вкусными», как тогда говорилось, «Турками» Бакста и сомовской акварельной «Радугой» среди мокрых берез.

2

Две баронессы Корф оставили след в судебных летописях Парижа одна, кузина моего прапращура, женатого на дочке Грауна, была та русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свои и дорожную карету (только что сделанный на заказ, великолепный, на высоких красных колесах, обитый снутри белым утрехтским бархатом, с зелеными шторами и всякими удобствами, шестиместный берлин) королевскому семейству для знаменитого бегства в Варенн (Мария-Антуанетта ехала как мадам де Корф, или как ее камеристка, король — не то как гувернер ее двух детей, не то как камердинер) Другая моя прабабка, полвека спустя, была причастна менее трагическому маскараду, а вычитал я эту историю из довольно пошлого французского журнала «Illustration» за 1859 г, стр. 251 Граф де Морни давал бал-маскарад, на него он пригласил — цитирую источник — «une noble dame que la Russie a pretee cet hiver a la France» ("благородную даму которую Россия одолжила на эту зиму Франции " (франц.)), баронессу Корф с двумя дочками Мужа, Фердинанда Корфа (1805–1869, праправнука Грауна по женской линии), по-видимому не было близко, но зато тут находился друг дома и жених одной из дочек (Марии Фердинандовны, 1842–1926), а мой будущий дед, Дмитрий Набоков (1827–1904) Для девиц были заказаны к балу костюмы цветочниц, по 225 франков за каждый, что тогда представляло, по явно подрывательски-марксистскому замечанию репортера, шестьсот сорок три дня «de nourriture, de loyer et d'entretien du pere Crepin» (стоимости пропитания, жилья и обуви), видимо рабочему человеку жилось тогда дешево Однако баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их Портниха прислала «buissier» — судебного пристава, после чего моя прабабка, женщина страстного нрава (и не столь добродетельная, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом) подала на портниху в суд, жалуясь, что наглые мамзели, принесшие наряды, в ответ на ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам, «se sont permis d'exposer des thйories йgalitaires du plus mouvais goыt» (позволили себе высказать превульгарные демократические теории). К этому она добавляла, что поздно было заказывать другие костюмы, — и рыдающие дочки не пошли на бал; что пристав и его сподручные развалились в креслах, предоставив дамам стулья; а главное, что этот пристав смел грозить арестом господину Набокову, «Conseiller d'Etat, homme sage et plein de mesure» (статскому

советнику, человеку рассудительному и уравновешенному) только потому, что тот попробовал пристава выбросить из окна. Не знаю, как это случилось, но портниха дело проиграла, причем ей не только пришлось вернуть деньги за костюмы, но еще отвалить истице тысячу франков за моральный ущерб. Счет же за дивную колымагу, поданный каретником весной 1791 г. (5944 ливров), так и остался неоплаченным.

В 1878 году Дмитрий Николаевич был назначен министром юстиции. Одной из заслуг его считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров. Когда в 1885 го-ду он вышел в отставку, Александр Третий ему предложил на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение; благоразумный Набоков выбрал второе. В том же году «Вестник Европы» выразился о его деятельности так:

«Он действовал как капитан корабля во время сильной бури — выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное», — что в отношении контрапункта изящно перекликается с началом его карьеры, когда будущий законник чуть не выбросил сгоряча представителя закона за окно.

К концу жизни рассудок Дмитрия Николаевича помутился. Он понимал, что тяжело болен, но он верил, что все образуется, коль скоро он останется жить на Ривьере; врачи же полагали, что ему нужен горный или северный климат. Где-то в Италии он бежал из-под надзора доктора и довольно долго блуждал, как некий Лир, понося детей своих на радость случайным прохожим. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился, ходила за ним в Ницце; брат и я-ему шел четвертый, а мне пятый год — жили там же, с англичанкой мисс Норкот. Помню, как в блеске утра оконницы дребезжали на упругом морском ветру, и какая это была чудовищная, ни с чем не сравнимая боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на руку. При помощи свечки, пламя которой было изумительно бледно на солнце, заливавшем каменные плиты, я только что так хорошо занимался превращением плавких колоритных брусков в дивно пахнущие, карминовые, изумрудные, бронзовые кляксы. Мисс Норкот была в саду с братом; на мой истошный рев прибежала, шурша, мама, и где-то поодаль, на той же или смежной террасе, мой дед в двухколесном кресле бил концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бранился похабными словами.

Служителя, катавшего его по Promenade des Anglais (Английская набережная (франц.)), он все принимал за нелюбимого сослуживца-Лорис-Меликова, умершего пятнадцать

лет тому назад в той же Ницце. «Qui est cette femme? Chassez-la!» («Кто эта женщина? Прогоните ее!» (франи.)) — кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно вижу себя подбегающим к его креслу, чтобы показать ему красивый камушек, который он медленно осматривает и медленно кладет себе в рот. Ужасно жалею, что мало расспрашивал мать впоследствии об этой странной поре на начальной границе моего сознания и на конечном пределе сознания дедовского.

Все дольше и дольше становились припадки забытья. Во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен в Россию.

Моя мать закамуфлировала комнату под его спальню в Ницце.

Подыскали похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга цветами и тот уголок стены (мне особенно нравится эта подробность), который можно было наискось разглядеть из окна, покрасили в блестяще-белый цвет, так что при каждом временном прояснении рассудка больной видел себя в безопасности, среди блеска и мимоз иллюзорной Ривьеры, художественно представленной моей матерью, и умер он мирно, не слыша голых русских берез, шумящих мартовским прутяным шорохом вокруг дома.

3

Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего Дворца.

У него было три брата, Дмитрий (женатый первым браком на Фальц-Фейн), Сергей (женатый на Тучковой) и Константин (к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался ото всех своих братьев). Из пяти их сестер Наталья была за Петерсоном, Вера — за Пыхачевым, Нина — за бароном Раушем фон Траубенберг (а затем за адмиралом Коломейцевым), Елизавета — за князем Витгенштейном, Надежда-за Вонлярлярским. К началу второго десятилетия века у меня было так сказать данных, т. е, вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен).

С некоторыми из этих семейств, по взаимной ли симпатии или по соседству земель, мы виделись значительно чаще, чем с другими.

Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения-Дружноселье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии — все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе.

4

Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник — ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат, как и его свояк Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях, — до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного, образа Василья Ивановича.

Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне, среди фотографий каких-то молодых английских офицеров, и не очень счастливо воевавший с соперником по посольскому первенству Саблиным. Ответив как-то «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти: первый раз, в Москве, когда его предложил подвезти вел. кн. Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым; другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на «Титанике», обреченном встретиться с айсбергом. Умер он в двадцатых годах от сквозняка в продувном лондонском гошпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные «Злоключения Дипломата» и перевел на английский язык «Бориса Годунова».

Однажды, в 1940 году, в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований, я спустился по лифту с пятого этажа Американского Музея Естествоведения, где проводил целые дни в энтомологической лаборатории, и вдруг — с мыслью, что может быть я переутомил мозг — увидел свою фамилию, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При более внимательном рассмотрении фамилия приложилась к изображению Константина Дмитриевича: молодой, прикрашенный, с эспаньолкой, он участвует, вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами, в подписании Портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузвельта — в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен, и тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами.

Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом

муравчатом холму за рекой Оредежь, против нашей Выры. В раннем детстве дядя Вася и все, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешен, застекленная в защиту от климата петербургской губернии, и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский, фокус, он умел заставлять извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры, — все это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц, и такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе, под лучистым от уличных огней дождем, вдруг набредешь, ребенком, в коричневых лайковых перчатках, на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек, Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка, и почему-тоя бывал рад, когда отец издали звал: «Вася, on vous attend» (Вас ждут (франц.)), — и тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола, и страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать, пол-яблока. булочку, одинокую в луже редиску. Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне должно быть шел одиннадцатый год, и вот вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-Экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков, — и вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам, и, мельком взглянув на меня, проговорил «Que vous ктes devenu jaune et laid, mon pauvre garson» (как ты пожелтел, как подурнел, бедняга). В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке, объявил меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу дотла, ежели немцы-это было в 1914 г. — когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь, — сказал он, — можешь идти, аудиенция кончена, je n'ai plus rien a vous

dire» (Мне больше нечего вам сказать (франц.)).

Вижу, как на картине, его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые со ржавой искрой глаза, темные пышные усы, темный бобрик; вижу и очень подвижное между крахмальными отворотцами адамово яблоко, и змееобразное, с опалом, кольцо вокруг узла светлого галстука. Опалы носил он и на пальцах, а вокруг черно-волосатой кисти — золотую цепочку.

В петлице бледно-сизого, или еще какого-нибудь нежного оттенка, пиджака почти всегда была гвоздика, которую он бывало быстро нюхал — движением птицы, вздумавшей вдруг обшарить клювом плечевой пух. Как я уже говорил, он появлялся у нас в деревне только летом (помню не больше двух-трех заграничных с ним встреч), и сквозь этот-то жаркий перелив в дорогом камне минувшего времени мне теперь и представляется он — вот опустился на ступень веранды для еще одного снимка (как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее!) и сидит с тенью лавров на белой фланели штанов, с руками, сложенными на набалдашнике трости, с солнцем на выпуклом, веснушчатом лбу в ореоле далеко назад сдвинутого канотье.

Осенью он. возвращался за границу, в Рим, Париж, Биарриц, Лондон, Нью-Йорк; в свои южные именья— итальянскую виллу, пиренейский замок около Раи; и была знаменитая в летописях моего детства поездка его в Египет, откуда он мне ежедневно посылал глянцевитые открытки с большеногими фараонами, сидящими рядком, и вечерними отражениями силуэтных пальм в розовом Ниле, через который резко и неопрятно шел его странно-некрасивый весь в углах, дикий, вопящий, какой-то, т, е. совсем непохожий на него самого, почерк. И опять в июне, на восхитительном севере, когда весело цвела имени безумного Батюшкова млечная черемуха, и солнце припекало после очередного ливня, крупные, иссиня-черные с белой перевязью бабочки (восточный подвид тополевой нимфы) низко плавали кругами над лакомой грязью дороги, с которой их спугивала его мчавшаяся к нам коляска, С обещанием дивного подарка в голосе, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, он подводил меня к ближайшей липке и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами: «Pour mon neveu, ia chose la plus belle au monde — une feuille verte» («Моему племяннику-самая прекрасная вещь в мире-зеленый листок» (франц)). Или же из Нью-Йорка он мне привозил собранные в книжки цветные серии-смешные приключения Buster Brown'a, теперь забытого мальчика в красноватом костюме с большим отложным воротником и черным бантом; если очень

близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные малиновые точки, из которых составлялся цвет его блузы. Каждое приключение кончалось для маленького Брауна феноменальной поркой, причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала что попало-туфлю, щетку для волос, разламывающийся от ударов зонтик, даже дубинку услужливого полисмена, — и какие тучи пыли выколачивала она из жертвы, ничком перекинутой через ее колени! Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти истязания казались мне диковинной, экзотической, но довольно однообразной пыткой-менее интересной, чем, скажем, закапывание врага с выразительными глазами по самую шею в песок кактусовой пустыни, как было показано на заглавном офорте одного из лондонских изданий Майн-Рида.

5

Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь.

Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках.

Однажды мы его подвергли испытанию, и, в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11» в начальные слова известного монолога Гамлета. В розовом фраке, верхом на взмывающей через преграды громадной гнедой кобыле, он участвовал в лисьих охотах в Италии, в Англии. Закутанный в меха он однажды попытался проехать на автомобиле из Петербурга в По, но завяз в Польше. В черном плаще (спешил на бал) он летел на фанерно-проволочном аэроплане и едва не погиб, когда аппарат разбился о Бискайские скалы (я все интересовался, как реагировал, очнувшись, несчастный летчик, сдававший машину. «Il sanglotait» («Он рыдал» (франц.)), — подумавши, ответил дядя). Он писал романсы— меланхолически-журчащую музыку и французские стихи, причем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета немого «е». Он был игрок и исключительно хорошо блефовал в покере.

Его изъяны и странности раздражали моего полнокровного и прямолинейного отца, который был очень сердит, например, когда узнал, что в каком-то иностранном притоне, где молодого Г., неопытного и небогатого приятеля Ва-силья Ивановича, обыграл шулер, Василий Иванович, знавший толк в фокусах, сел с шулером играть и преспокойно передернул, чтобы выручить приятеля.

Страдая нервным заиканьем на губных звуках, он не задумался переименовать своего кучера Петра в Льва-и мой отец обозвал его крепостником. По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, предпочитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. Всякий его переход на русский служил средством к издевательству, заключавшемуся в том, чтобы исковеркать или некстати употребить простонародный оборот, прибаутку, красное словцо. Помню, как за столом, подытоживая всяческие свои горести — замучила сенная лихорадка, улетел один из павлинов, пропала любимая борзая, — он вздыхал и говорил: «Je suis comme une (Я как (франц.)) былинка в поле!» — с таким видом, точно и впрямь могла такая поговорка существовать.

Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца, и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на

пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы-совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем-с каким щемящим чувством вспоминалось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой — когда бывало входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у все еще спокойного на вид слуги.

От других, более сокровенных терзаний, донимавших его, он искал облегчения-если я правильно понимаю эти странные вещи-в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектантства, а потом по-видимому в католичестве; лет за пять до его смерти моя мать и кузина отца Екатерина Дмитриевна Данзас однажды не могли заснуть в своем отделении от рокота и рева латинских гимнов, заглушавших шум поезда — и несколько опешили, узнав, что это поет на сон грядущий Василий Иванович в смежном купе. А помощь ему с его натурой была верно до крайности нужна. Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича, его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца. На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов, с картинной галереей, на три четверти полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его нрав угрожал чуть ли не жизни сына, и ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете.

Рождественская усадьба-купленная им собственно для старшего, рано умершего, сына — была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, ру-косбразный предметик из слоновой кости для чесания спины — и уже относящуюся к другой главе в этой книге,

незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности.

После 1914 года я больше его не видал. Он тогда в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние и петербургское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тур-генево-толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до Второй мировой войны дом, по донесениям путешественников, все еще стоял на художественно-исторический показ иностранному туристу, проезжающему мимо моего холма по Варшавскому шоссе, где — в шестидесяти верстах от Петербурга — расположено за одним рукавом реки Оредежь село Рождествено, а за другим-наша Выра. Река местами подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы врастают в облачно-голубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи и веет черемухой; и если двигаться вниз, вдоль высокого нашего парка, достигнешь, наконец, плотины водяной мельницы — и тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство, точно плывешь все назад да назад, стоя на самой корме времени.

6

В сем месте американской и великобританской версий нынешней книги, в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом (или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему, что «понимает» меня), я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его покажется слишком очевидной русскому читателю моего поколения:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству», И еще:

Выговариваю себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России.

7

Мне было семнадцать лет; вторая любовь и первые паузники занимали все мои досуги, о материальном строе жизни я не помышлял — да и на фоне общего благополучия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться; но теперь мне вчуже странно, и даже немного противно, думать, что в течение короткого года, пока я владел этим обреченным наследством, я слишком был поглощен общими местами юности — уже терявшей свою первородную самоцветность, — чтобы испытать какое-либо добавочное удовольствие от вещественного владения домом и дебрями, которыми и так владела душа, или какую-либо досаду, когда большевицкий переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Мне это противно — точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Васе, взглянул на него, чудака, с улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как наш швейцарец гувернер, коренастый и обычно добродушный Нуазье, брызгал ядовитым сарказмом, разбирая однажды французские стихи и музыку дяди-"Octobre"-лучший его романс. Он сочинил эту может быть и банальную, но певуче-ручьистую вещь как-то осенью, в своем замке около По, в Нижних Пиренеях, недалеко, помнится, от имения Ростана, мимо которого мы проезжали по дороге из Биаррица. Имение называлось Перпинья, — он его завещал какому-то итальянцу. Глядя с террасы на виноградники, желтеющие внизу по скатам, на горы, лиловеющие вдали, терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех чувств (он лицом несколько походил на Пруста), бедный Рука — как звали его друзья-иностранцы — отдал мучительную дань осенним краскам — «chapelle ardente de feuilles aux tons violents» («Часовня из огнецветных листьев» (франц.).) как выпелось у него, — и единственный, кто запомнил романс от начала до конца, был мой брат, непривлекательный тогда увалень в очках, которого Василий Иванович едва замечал и который за смертью не может ныне помочь мне восстановить забытые мною слова.

L'air transparent fait monter de la plajne… — (Прозрачный воздух доносит с равнины… (франц.)) высоким тенором пел Василий Иванович, приехавший к завтраку, а пока что присевший у белого рояля, наполовину отраженного в палевом паркете вырской гостиной, — и ежели я, со своей рампеткой из зеленой кисеи, шел в эту минуту домой через парк (вдоль которого по ломаной линии молодого ельника только что пронесся

ассирийский профиль дядиного кучера, — бархатный бюст, малиновые рукава, — и дядино канотье) ужасно жалобные и переливчатые звуки:

Un vol de tourterelles strie le ciel tendre, Les chrysanthimes se parent pour la Toussaint. (Голубиная стая штрихует нежное небо, Хризантемы наряжаются к празднику Всех Святых… (франц.).) доплывали до меня в петлистых тенях дышащей в такт аллеи, и в ее конце открывался мне красный песок садовой площадки с углом зеленой усадьбы, из бокового окна которой, как из раны, лилась эта музыка, это пенье.

8

Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы — еще тогда, когда в сущности никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки — уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь проходя — пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишки и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть и тогда уже не существовавшего замка. Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое — черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых и у Набоковых. Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньими глазками крылья и была поймана ловким немцем-гувернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике, и он перебирал и разыгрывал всю сцену сначала, как бабочка сидела дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого.

На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами (я узнаю ее до сих пор по большой белой башне на видовых открытках Аббации), предаваясь мечтам во время сиесты, при спущенных шторах, в детской моей постели, я бывало поворачивался на живот, — и старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях (трудно совместимым с нелепо малым числом сознательных лет), пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы и навес подъезда, все ступени его и непременно почему-то блестящую между колеями драгоценную конскую подкову вроде той, что посчастливилось мне раз найти-и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка, вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!

А вот еще помню. Мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии Bibliothique Rosй. Вдруг, блаженно застонав, он находит в ней любимое им в детстве место: «Sophie n'йtait pas jolie…» («Соня не была хороша собой…» (франц.)); и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной vie de chвteau (Усадебная жизнь (франц.)), на которую M-me de Sйgur, nйe Rastopchine (Мадам де Сегюр, рожд. Растопчина (франц.)) добросовестно перекладывала свое детство в России, — почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих «Les Malheurs de Sophie», «Les Petites Filles Modиles», «Les Vacances» («Сонины проказы».

«Примерные девочки», «Каникулы» (франц)), тонкая связь с русским усадебным бытом. Но мое положение сложнее дядиного, ибо когда читаю опять, как Софи остригла себе брови, или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение, и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд змеи-когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки, отворенное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке, и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже, кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В обиходе таких семей как наша была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М. Ф.

Набокова говорила уже совсем по старинке: аглицки. Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром — янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны-тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый tub я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасением в моих бесчисленных европейских пансионах; грязнее французской общей ванной нет на свете ничего, кроме немецкой.

За брекфастом яркий паточный сироп, golden syrup, наматывался блестящими кольцами на ложку, а оттуда сползал змеей на деревенским маслом намазанный русский черный хлеб.

Зубы мы чистили лондонской пастой, выходившей из тубочки плоскою лентой. Бесконечная череда удобных, добротных изделий да всякие ладные вещи для разных игр, да снедь текли к нам из Английского Магазина на Невском. Тут были и кексы, и нюхательные соли, и покерные карты, и какао, и в цветную полоску спортивные фланелевые пиджаки, и чудные скрипучие кожаные футболы, и белые как тальк, с девственным пушком, теннисные мячи в упаковке, достойной редкостных фруктов.

Эдемский сад мне представлялся британской колонией.

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая неприятная для непетербургского слуха — да и для меня самого, когда слышу себя на пластинке — брезгливость произношения в разговорном русском языке сохранилась у меня и по сей день (помню при первой встрече, в 1945 что ли году, в Америке, биолог Добжанский наивно мне заметил: «А здорово, батенька, вы позабыли родную речь»). Первыми моими английскими друзьями были незамысловатые герои грамматики — коричневой книжки с синяком кляксы во всю обложку: Ben, Dan, Sam и Ned.

Много было какой-то смутной возни с установлением их личности и местопребывания. «Who is Ben?», «He is Dan», «Sam is in bed»,

«Is Ned in bed?» («Кто такой Бен?» «Это — Дэн», «Сэм в

постели», «В постели ли Нэд?» (англ.)) и тому подобное.

Из-за того, что в начале составителю мешала необходимость держаться односложных слов, представление об этих лицах получилось у меня и сбивчивое и сухое, но затем воображение пришло на помощь, и я увидел их. Туполицые, плоскоступые, замкнутые оболтусы, болезненно гордящиеся своими немногими орудиями (Ben bas an axe), они вялой подводной походкой медленно шагают вдоль самого заднего задника сценической моей памяти; и вот, перед дальнозоркими моими глазами вырастают буквы грамматики, как безумная азбука на таблице у оптика.

Классная разрисована ломаными лучами солнца. Брат смиренно выслушивает отповедь англичанки. В запотевшей стеклянной банке под марлей несколько пестрых, с шипами, гусениц, методично пасется на крапивных листьях, изредка выделяя интересные зеленые цилиндрики помета. Клетчатая клеенка на круглом столе пахнет клеем. Чернила пахнут черносливом. Виктория Артуровна пахнет Викторией Артуровной. Кроваво-красный спирт в столбике большого наружного градусника восхищенно показывает 24 Реомюра в тени. В окно видать поденщиц в платках, выпалывающих ползком, то на корточках, то на четвереньках, садовые дорожки: до рытья государственных каналов еще далеко. Иволги в зелени издают свой золотой, торопливый, четырехзвучный крик.

Вот прошел Ned, посредственно играя младшего садовника. На дальнейших страницах слова удлинялись, а к концу грамматики настоящий связный рассказец развивался взрослыми фразами в награду маленькому читателю. Меня сладко волновала мысль, что и я могу когда-нибудь дойти до такого блистательного совершенства. Эти чары не выдохлись, — и когда ныне мне попадается учебник, я первым делом заглядываю а конец-в будущность прилежного ученика.

2

Летние сумерки («сумерки»-какой это томный сиреневый звук!). Время действия: тающая точка посреди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от экватора и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Июньскому дню требовалась вечность для угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды — все это как-то повисало в бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продлевалось еще и еще грустным мычанием коровы на далеком лугу или грустнейшим криком птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недосягаемого, что еще дети Рукавишниковы прозвали его:

Америка.

Брата уже уложили; мать, в гостиной, читает мне английскую сказку перед сном. Подбираясь к страшному месту, где Тристана ждет за холмом неслыханная, может быть роковая, опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя слова, и прежде чем перевернуть страницу, таинственно кладет на нее маленькую белую руку с перстнем, украшенным алмазом и розовым рубином; в прозрачных гранях которых, кабы зорче тогда гляделось мне в них, я мог бы различить ряд комнат, людей, огни, дождь, площадь — целую эру эмигрантской жизни, которую предстояло прожить на деньги, вырученные за это кольцо.

Были книги о рыцарях, чьи ужасные, — но удивительно свободные от инфекции — раны омывались молодыми дамами в гротах. Со скалы, на средневековом ветру, юноша в трико и волнисто-волосатая дева смотрели вдаль на круглые Острова Блаженства. Была одна пугавшая меня картинка с каким-то зеркалом, от которой я всегда так быстро отворачивался, что теперь не помню ее толком! Были нарочито трогательные, возвышенно аллегорические повести, скроенные малоизвестными англичанками для своих племянников и племянниц. Особенно мне нравилось, когда текст, прозаический или стихотворный, лишь комментировал картинки. Живо помню, например, приключения американского Голивога. Он представлял собою крупную, мужского пола куклу в малиновых панталонах и голубом фраке, с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бельевыми пуговицами вместо глаз. Пять деревянных, суставчатых кукол составляли его скромный гарем. Из них две старших смастерили себе платья из американского флага: Пегги взяла себе матронистые полоски, а Сарра Джейн —

грациозные звезды, и тут я почувствовал романтический укол, ибо нежно-голубая ткань особенно женственно облекала ее нейтральный стан. Две других куклы, близнецы, и пятая, крохотная Миджет, остались совершенно нагими, и следовательно бесполыми, В рождественскую ночь проснулись игрушки и так далее.

Сарру Джейн испугал и по-видимому ушиб какой-то лохматый наглец, взвившийся на пружинах из своей разукрашенной коробки, и это было неприятно (бывало, в гостях нравившаяся мне какая-нибудь девочка, прищемив палец или шлепнувшись, вдруг превращалась в страшного багрового урода — ревущий рот, морщины). Затем им попался навстречу печальный восточный человечек, тосковавший в чужой Америке. Выйдя на улицу, наши друзья бросались снежками. В других сериях они совершали велосипедную поездку в страну бежевых каннибалов или катались на проглотившем аршин красном автомобиле тех времен (около 1906 года), причем Сарра Джейн была наряжена в изумрудную вуаль, окончательно меня покорившую. Однажды Голивог построил себе и четырем из своих кукол дирижабль из желтого шелка, а миниатюрному Миджету-собственный маленький воздушный шар. Как ни было увлекательно путешествие голивогской группы, меня волновало другое: со страстной завистью я смотрел на лилипутового аэронавта, ибо в гибельной черной бездне, среди снежинок и звезд, счастливец плыл совершенно отдельно, совершенно один.

3

Затем вижу: посреди дома, вырастая из длинного, залоподобного помещения или внутренней галереи, сразу за вестибюлем, поднимается на второй этаж, широко и полого, чугунная лестница; паркетная площадка второго этажа, как палуба, обрамляет пролет с четырех сторон, а наверху — стеклянный свод и бледно-зеленое небо. Мать ведет меня к лестнице за руку, и я отстаю, пытаюсь ехать за нею, шаркая и скользя по плитам зала; смеясь, она подтягивает меня к балюстраде; тут я любил пролезать под ее заворот между первым и вторым столбиком, и с каждым летом плечам и хребту было теснее, больнее: ныне и призрак мой пожалуй бы не протиснулся.

Следующая часть вечернего обряда заключалась в том, чтоб подниматься по лестнице с закрытыми глазами: «Step» (ступенька), приговаривала мать, медленно ведя меня вверх.

«Step, Step», — и в самодельной темноте лунатически сладко было поднимать и ставить ногу. Очарование становилось все более щекотным, ибо я не знал, не хотел знать, где кончается лестница. «Step», — говорила мать все тем же голосом, и обманутый им, я лишний раз — высоко-высоко, чтоб не споткнуться — поднимал ногу, и на мгновение захватывало дух от призрачной упругости отсутствующей ступеньки, от неожиданной глубины достигнутой площадки. Страшно подумать, как «растолковал» бы мрачный кретин-фрейдист эти тонкие детские вдохновения.

С удивительной систематичностью я умел оттягивать укладыванье. На верхней площадке, по четырем сторонам которой белелись двери многочисленных покоев, мать сдавала меня Виктории Артуровне или француженке. В доме было пять ванных комнат, а кроме того много старомодных комодообразных умывальников с педалями: помню, как бывало после рыданий, стыдясь красных глаз, я отыскивал такого старца в его темном углу, и как, при нажатии на ножную педаль, слепой фонтанчик из крана нежно нащупывал мои опухшие веки и заложенный нос.

Клозеты, как везде в Европе, были отдельно от ванн, и один из них, внизу, в служебном крыле дома, был до странности роскошен, но и угрюм, со своей дубовой отделкой, тронной ступенью и толстым пурпурово-бархатным шнуром: потянешь книзу за кисть, и сдержанно-музыкально журчало и переглатывало в глубинах; в готическое окно можно было видеть вечернюю. звезду и слышать соловьев в старых неэндемичных тополях за домом; и там, в годы сирени и тумана, я сочинял

стихи — и впоследствии перенес все сооружение в первую свою повесть, как через океан перевозится разобранный замок. Но в раннюю пору, о которой сейчас идет речь, мне отведено было значительно более скромное место на втором этаже, довольно случайно расположенное в нише коридорчика, между плетеной бельевой корзиной с крышкой (как вспомнился ее скрип!) и дверью в ванную при детской. Эту дверь я держал полуотворенной, и играл ею, глядя сонными глазами на пар, поднимающийся из приготовленной ванны, на расписное окно за ней с двумя рыцарями, состоящими на цветных прямоугольников, на долиннеевскую ночницу, ударявшуюся о жестяной рефлектор керосиновой лампы, желтый свет которой, сквозь пар, сказочно озарял флотилью в ванне: большой, приятный, плавучий градусник в деревянной оправе, с отсыревшей веревкой, продетой в глазок ручки, целлулоидного лебедя, лодочку, меня в ней с тристановой арфой. Наклоняясь с насиженной доски, я прилаживал лоб к удивительно удобной краевой грани двери, слегка двигая ее туда-сюда своей прижатой головой. Сонный ритм проникал меня всего; капал кран, барабанила бабочка; и впрок сопрягая звуковые узоры со зрительными, я упирался взглядом в линолеум и находил в ступенчатом рисунке его лабиринта щиты и стяги, и зубчатые стены, и шлемы в профиль. Обращаюсь ко всем родителям и наставникам: никогда не говорите ребенку «Поторопись!».

Последний этап моего путешествия наступал, когда, вымытый, вытертый, я доплывал наконец до островка постели. С веранды, где шла без меня обольстительная жизнь, мать поднималась проститься со мной. Стоя коленями на подушке, в которой через полминуты предстояло потонуть моей звенящей от сонливости голове, я без мысли говорил английскую молитву для детей, предлагавшую — в хореических стихах с парными мужскими рифмами — кроткому Иисусу благословить малого дитятю. В соединении с православной иконкой в головах, на которой виднелся смуглый святой в прорези темной фольги, все это составляло довольно поэтическую смесь. Горела одна свеча, и передо мной, над иконкой, на зыбкой стене колыхалась тень камышовой ширмы, и то туманился, то летел ко мне акварельный вид — сказочный лес, через стройную глушь которого вилась таинственная тропинка; мальчик в сказке перенесся на такую нарисованную тропинку прямо с кровати и углубился в глушь на деревянном коньке; и, дробя молитву, присаживаясь на собственные икры, млея в припудренной, преддремной, блаженной своей мгле, я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес — куда, кстати, в свое время я и

попал.

4

Несоразмерно длинная череда английских бонн и гувернанток-одни бессильно ломая руки, другие загадочно улыбаясь — встречает меня при моем переходе через реку лет, словно я бодлеровский дон Жуан, весь в черном. Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребенок (балуйте детей побольше, господа, вы не знаете, что их ожидает!). Могу себе представить, как этим бедным воспитательницам иногда бывало скучно со мной, какие длинные письма писали они в тишине своих скучных комнат. Я теперь читаю курс по европейской литературе в американском университете тремстам студентам.

Мисс Рэчель, простую толстуху в переднике, помню только по английским бисквитам (в голубой бумагой оклеенной жестяной коробке, со вкусными, миндальными, наверху, а пресно-сухаристыми-внизу), которыми она нас — трехлетнего и двухлетнего — кормила перед сном (а вот, кстати, слово «корм»,

«кормить» вызывает у меня во рту ощущение какой-то теплой сладкой кашицы — должно быть совсем древнее, русское няньковское воспоминание). Я уже упоминал о довольно строгонькой мисс Клэйтон, Виктории Артуровне: бывало, разваливаюсь или горблюсь, а она тык меня костяшками руки в поясницу, или еще сама противно расправит и выгнет стан, показывая, значит, как надобно держаться. Была томная, черноволосая красавица с синими морскими глазами, мисс Норкот, однажды, потерявшая на пляже в Ницце белую лайковую перчатку, которую я долго искал среди всякой пестрой гальки, да ракушек, да совершенно округленных и облагороженных морем бутылочных осколков; она оказалась лесбиянкой, и с ней расстались в Аббации, Была небольшая, кислая, малокровная и близорукая мисс Хант, чье недолгое у нас пребывание в Висбадене окончилось в день, когда мы, пятилетний и четырехлетний, бежали из-под ее надзора и каким-то образом проникли в толпе туристов на пароход, который унес нас довольно далеко по Рейну, покуда нас не перехватили на одной из пристаней. Потом была опять Виктория Артуровна. Помню еще ужасную старуху, которая читала мне вслух повесть Марии Корелли «Могучий Атом» о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника. Были и другие. Их череда заходит за угол и пропадает, и воспитание мое переходит во французские и русские руки. Немногие часы, оставшиеся на английскую стихию,

посвящались урокам с мистером Бэрнес и мистером Куммингс, которые не жили у нас, а приходили на дом в Петербурге, где у нас был на Морской (№ 47) трехэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полеской мозаики над верхними окнами. После революции в него вселилось какое-то датское агентство, а существует ли он теперь — не знаю. Я там родился-в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате, на втором этаже — там, где был тайничок с материнскими драгоценностями: швейцар Устин лично повел к нему восставший народ через все комнаты в ноябре 1917 года.

5

Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми желтыми волосами и с лицом цвета сырой ветчины. По утрам он преподавал в какой-то школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города в другой, он всецело зависел от несчастных, шлепающих рысцой ванек, и хорошо если попадал на первый урок с опозданием в четверть часа, а на второй опаздывал вдвое; к четырехчасовому он добирался уже около половины шестого. Все это отягощало ожидание; уроки его были прескучные, и я всегда надеялся, что хоть на этот раз сверхчеловеческое упорство запоздалого ездока не одолеет серой стены бурана, сгущающейся перед ним. Это было всего лишь свойственное восьмилетнему возрасту чувство, возобновление которого едва ли предвидишь в зрелые лета; однако мне пришлось испытать нечто очень похожее спустя четверть века, когда в чужом, ненавистном Берлине, будучи сам вынужден преподавать английский язык, я бывало сидел у себя и ждал одного особенно упрямого и бездарного ученика, который с каменной неизбежностью наконец появлялся (и необыкновенно аккуратно складывал пальто на добротной подкладке, этаким пакетом на стуле), несмотря на все баррикады, которые я мысленно строил поперек его длинного и трудного пути, Самая темнота зимних сумерек, заволакивающих улицу, казалась мне побочным продуктом тех условий, которые делал мистер Бэрнес, чтобы добраться до нас. Приходил камердинер, звучно включал электричество, неслышно опускал пышно-синие шторы, с перестуком колец затягивал цветные гардины и уходил.

Крупное тиканье степенных стенных часов с медным маятником в нашей классной постепенно приобретало томительную интонацию.

Короткие штаны жали в паху, а черные рубчатые чулки шерстили под коленками, и к этому примешивался скромный позыв, который я ленился удовлетворить. Мне было — как выражалась няня сестер, следовавшая их англичанке в технических вопросах-необходимо «набаван» (number one, в отличие от более основательного «набату», number two — да не посетует чопорный русский читатель на изобилие гигиенических подробностей в этой главе: без них нет детства). Нудно проходил целый час-Бэрнеса все не было. Брат уходил в комнату Mademoiselle, и она ему там читала уже знакомого мне «Генерала Дуракина». Покинув верхний,

«детский», этаж, я лениво обнимал ласковую балюстраду и в мутном трансе, полуразинув рот, соскальзывал вдоль по накалявшимся перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей (интересно, клюнет ли тут с гнилым мозгом фрейдист). Обычно они в это время отсутствовали — мать много выезжала, отец был в редакции или на заседании, — и в сумеречном оцепенении его кабинета молодые мои чувства подвергались — не знаю как выразиться — телеологическому, что ли, «целеобусловленному» воздействию, как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать этот определенный образ, который у меня теперь запечатлен в мозгу; эту тихую работу вещей надо мной я часто чувствовал в минуты пустых, неопределенных досугов. Часы на столе смотрели на меня всеми своими фосфорическими глазками.

Там и сям, бликом на бронзе, бельмом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянцем на полотне картин, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку. Нервы заставлял «полыхнуть» сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы.

У будуара матери был навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской площади.

Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через одно десятилетие, в начальные дни революции, я из этого фонаря наблюдал уличную перестрелку и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась нога, и с этой ноги норовил кто-то из живых стащить сапог, а его грубо отгоняли; но сейчас нечего было наблюдать, кроме приглушенной улицы, лилово-темной, несмотря на линию ярких лун, висящих над нею; вокруг ближней из них снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, показывая, как это делается и как это все просто. Из другого фонарного окна я заглядывался на более обильное падение освещенного снега, н тогда мой стрелянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар.

Экипажи проезжали редко; я переходил к третьему окну в фонаре, и вот извозчичьи сани останавливались прямо подо мной, и мелькала неприличная лисья шапка Бэрнеса.

Предупреждая его набег, я спешил вернуться в классную и уже оттуда слышал, как по длинному коридору приближаются энергичные шаги испытанного скорохода. Какой бы ни был мороз

на дворе, его лоб весь блестел перловым потом. Урок состоял в том, что в продолжение первой четверти он молча исправлял заданное в прошлый раз упражнение, вторую четверть посвящал диктовке, исправлял ее, а затем, лихорадочно сверив свои жилетные часы со стенными, принимался писать быстрым, округлым почерком, со страшной энергией нажимая на плюющееся перо, очередное задание.

Перед самым его уходом я выпрашивал у него любимую пытку. Держа в своем похожем на окорок кулаке мою небольшую руку, он говорил лимерик (нечто вроде пятистрочной частушки весьма строгой формы) о lady frorn Russia, которая кричала, screamed, когда ее сдавливали, cruched her, и прелесть была в том, что при повторении слова «screamed» Бэрнес все крепче и крепче сжимал мне руку, так что я никогда не выдерживал лимерика до конца.

Вот перефразировка по-русски:

Есть странная дама из Кракова: орет от пожатия всякого, орет наперед и все время орет — но орет не всегда одинаково.

6

Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, носивший заместо демисезонного пальто зеленовато-бурый плащ-лоден, был когда-то домашним учителем рисования моей матери и казался мне восьмидесятилетним старцем, хотя на самом деле ему не было и сорока пяти в те годы -1907-1908, — когда он приходил давать мне уроки перспективы (небрежным жестом смахивая оттертыш гуттаперчи и необычайно элегантно держа карандаш, который волшебными штрихами стягивал в одну бесконечно отдаленную точку даль дивной, но почему-то совершенно безмебельной залы). В Россию он, кажется, попал в качестве иностранного корреспондента-иллюстратора лондонского Graphic'a. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями.

Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Маленькие его акварели— полевые пейзажи, вечерняя река и тому подобное, — приобретенные членами нашей семьи и домочадцами, прозябали по углам, оттесняемые все дальше и дальше, пока их совсем не скрывала холодная компания копенгагенских зверьков или новообрамленные снимки. После того что я научился тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал при мне свои райские яркие виды. Впоследствии, с десяти лет и до пятнадцати, мне давали уроки другие художники: сперва порасплывчатее, «широкими мазками», воспроизводить в красках какие-то тут же кое-как им слепленные из пластилина фигурки; а затем-знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, — но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве. С чисто же эмоциональной стороны, в смысле веселости красок, столь сродной детям, старый Куммингс пребывает у меня в красном углу памяти. Еще лучше моей матери умел он все это делать — с чудным проворством навертывал на мокрую черную кисточку несколько красок сряду, под аккомпанемент быстрого дребезжания белых эмалевых чашечек, в которых некоторые подушечки, красные, например, и желтые,

были с глубокими выемками от частого пользования. Набрав разноцветного меда, кисточка переставала витать и тыкаться, и двумя-тремя сочными обмазами пропитывала бристоль ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока оно было чуть влажно, прокладывалось длинное акулье облако фиолетовой черноты; «And that's ail, dearie, — и это все, голубок мой, никакой мудрости тут нет».

Увы, однажды я попросил его нарисовать мне международный экспресс. Я наблюдал через его угловатое плечо за движеньями его умелого карандаша, выводившего веерообразную снегочистку или скотоловку, и передние слишком нарядные фонари такого паровоза, который, пожалуй, мог быть куплен для Сибирской железной дороги после того, что он пересек Америку через Ютаху в шестидесятых годах. За этим паровиком последовало пять вагонов, которые меня сильно разочаровали своей простотой и бедностью. Покончив с ними, он вернулся к локомотиву, тщательно оттенил обильный дым, валивший из преувеличенной трубы, склонил набок голову и, полюбовавшись на свое произведение, протянул мне его, приятно смеясь. Я старался казаться очень довольным.

Он забыл тендер.

Через четверть века мне довелось узнать две вещи: что покойный Бэрнес, который кроме диктанта да глупой частушки, казалось, не знал ничего, был весьма ценимым эдинбургскими знатоками переводчиком русских стихов, тех стихов, которые уже в отрочестве стали моим алтарем, жизнью и безумием; и что мой кроткий Куммиигс, которому я щедро давал в современники самых дремучих Рукавишниковых и дряхлого слугу Казимира с бакенбардами (того, который умел и любил откусывать хвосты новорожденным щенкам-фокстерьерам), счастливо женился dans la force de l'bge (В расцвете сил (франц.)), т. е. в моих теперешних летах, на молодой эстонке около того времени, когда я женился сам (в 1925 году). Эти вести меня странно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на мою печать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту личную мою границу, которую Мнемозина провела столь изящно, с такой экономией средств.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Так вкрапленный в начало «Защиты Лужина» образ моей французской гувернантки погибает для меня в чужой среде, навязанной сочинителем. Вот попытка спасти что еще осталось от этого образа.

Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала Mademoiselle. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, — и только три, но какие! — морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми — цвета ее же стальных часиков — глазами за стеклами пенсне в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы и ровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижнею челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышимую массу камышовому сиденью, которое со страху разражается скрипом и треском.

Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной, проведенной нами в деревне, и все было ново и весело — и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек в комнатах усадьбы, где в разных приятных занятиях тихо кончалось бурное царство мисс Робинсон. Год, как известно, был революционный, с бунтами, надеждами, городскими забастовками, и отец правильно рассчитал, что семье будет покойнее в Выре.

Правда, в окрестных деревнях были, как и везде, и хулиганы и пьяницы, — а в следующем году даже так случилось, что зимние озорники вломились в запертый дом и выкрали из киотов разные безделицы, — но в общем отношения с местными

крестьянами были идиллические: как и всякий бескорыстный барин-либерал, мой отец делал великое количество добра в пределах рокового неравенства.

Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснеженной станции в глубине гиперборейской страны и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова — того же, ничем не обросшего, неразменного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко «где» превращалось у нее в «гиди-э» и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. "Гиди-э, ги-ди-э? — заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали — одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее наконец поймут и оценят.

Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку. На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается заметь. Куда идти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой, как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза. «Et je me tenais la abandonnйe de tous, pareille a la Comtesse Karйnine» («И вот я стояла, всеми брошенная, совсем как графиня Каренина» (франц.).), — красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, выщербленный оспой, человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудак, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий тулуп с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позвякивающей в темноте, и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха.

Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника, усаживается в утлые сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, вороные Зойка и Зинка, и вот Mademoiselle подалась всем корпусом назад-это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.

Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно преувеличенная тень — с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя — несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний, фонарь, и все исчезает; путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называла с содроганьем «степью». И действительно, чем не la jeune Sibйrienne? (Юная сибирячка (франц.)) В неведомой мгле желтыми волчьими глазами кажутся переменчивые огни (сейчас мы проедем ветхую деревеньку в овраге, перед которой четко стоит — с 1840 г., что ли, — на слегка подгнившей, ко крепкой доске: 116 душ — хотя и тридцати не наберется). Бедная иностранка чувствует, что замерзает «до центра мозга» — ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые нам описали полярные мореходы.

Не забудем и полной луны. Вот она — легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на голубые колеи дороги, где каждый сверкающий ком снегу подчеркнут вспухнувшей тенью.

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда?

Точно в дурном сие, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет: бубенчики их-лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой — за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег — настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев.

2

В гостиную вплывает керосиновая лампа на белом лепном пьедестале. Она приближается — и вот, опустилась. Рука Мнемозины, теперь в нитяной перчатке буфетчика Алексея, ставит ее, в совершенстве заправленную, с огнем как ирис, посредине круглого стола. Ее венчает розовый абажур с воланами, кругосветно украшенный по шелку полупрозрачными изображеньицами маркизовых зимних игр.

Дверь отворена в проходной кабинетик, и оттуда низвергается желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном (всем этим я не раз меблировал детство героев).

За столом мы рисуем, На шкапчике в простенке лоснистым хребтом горбится бледно-серая обезьяна из фарфора с бледно-серым фруктом в руке, необыкновенно похожая на А. Ф. Кони, поедающего яблоко. Подвески люстры изредка позвякивают, вероятно оттого, что наверху передвигают что-то в будущей комнате Mademoiselle.

Старая Робинсон, которой я не терплю (но все лучше неизвестной француженки), отложив книгу, смотрит на часы: навалило много снегу, и вообще много чего ждет заместительницу.

Лиловый карандаш стал так короток от частого употребления, что его трудно держать. Синий проводит горизонт любого моря.

Голубой ужасно ломок: его шатающийся молочный кончик подпирается выступом выщепки. Зеленый спиральным движением производит липу-или дым из домишки, где варят шпинат. Желтый безнадежно сломан. Оранжевый создает солнце, садящееся за морской горизонт. Красный малыш едва ли не короче лилового. Из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину — пока я не догадался, что этот альбинос, будто бы не оставляющий следа на бумаге, на самом деле орудие идеальное, ибо, водя им, можно было вообразить незримое запечатление настоящих, взрослых картин, без вмешательства собственной младенческой живописи.

Увы, эти карандаши я тоже раздарил вымышленным детям. Как все размазалось, как все поблекло! Не помню, одалживал ли я кому Бокса Первого, любимца ключницы, пережившего свою Лулу-Иокасту. Он спит на расшитой подушке, в углу козетки.

Седоватая морда с таксичьей бородавкой у рта заткнута под ребро, и время от времени его все еще крутенькую грудную клетку раздувает глубокий вздох. Он так стар, так устлан изнутри

сновидениями о запахах прошлого, что не шевелится, когда сани с путешественницей и сани с ее багажом подъезжают к дому, и оживает гулкий, в чугунных узорах вестибюль. А как я надеялся, что она не доедет!

3

Совсем другой, некомнатный пес, благодушный родоначальник свирепой, но продажной, семьи цепных догов, выпускаемых только по ночам, сыграл приятную для него роль в происшествии, имевшем место чуть ли не через день после прибытия Mademoiselle.

Случилось так, что мы с бритом Сергеем оказались на полном ее попечении. Мать неосторожно уехала на несколько дней в Петербург, — она была встревожена событиями того года, а кроме того ожидала четвертого ребенка и была очень нервна. Робинсон, вместо того, чтобы помочь Mademoiselle утрястись, не то уехала тоже, не то была унаследована трехлетней моей сестрой — у нас мальчики и девочки воспитывались совершенно отдельно, как в старину. Чтобы показать наше недовольство, я предложил покладистому брату повторить висбаденскую эскападу, когда, шурша подошвами в ярких сухих листьях, мы так удачно бежали к пристани от мисс Хант, и потом врали Бог знает что каким-то американкам на рейнском пароходике. Но теперь, вместо нарядной осени, кругом расстилалась снежная пустыня, и не помню, как я себе представлял переход из Выры на Сиверскую, где по-видимому (как нахожу, порывшись заново у себя в памяти), я замышлял сесть с братом в петербургский поезд. Дело было на склоне дня, мы только что вернулись с первой нашей прогулки в обществе Mademoiselle и кипели негодованием и ненавистью. Бороться с малознакомым нам языком, да еще быть лишенными всех привычных забав — с этим, как я объяснил брату, мы примириться не могли.

Несмотря на солнце и безветрие, она заставила нас нацепить вещи, которых мы не носили и в пургу, — какие-то страшные гетры и башлыки, мешавшие двигаться. Она не позволила нам ходить по пухлым, белым округлостям, заменившим летние клумбы, или подлезать под волшебное бремя елок и трясти их. La bonne promenade (Славная прогулка (франц.)), которую она нам обещала, свелась к чинному хождению взад и вперед по усыпанной песком снежной площадке сада. Вернувшись с прогулки, мы оставили ее пыхтеть и снимать ботики в парадной, а сами промчались через весь дом к противоположной веранде, откуда опять выбежали на двор, правильно рассчитав, что она будет долго искать нас за шкалами и диванами еще мало ей известных комнат. Упомянутый дог как раз примеривался к ближнему сугробу, но его желтые глаза нас заметили— и радостно скача, он присоединился к нам.

Втроем пройдя по полупротоптанной тропинке, мы вскоре свернули через пушистый снег к проезжей дороге и двинулись окружным путем по направлению так называемой Песчанки, откуда, можно было пройти к станции, минуя село Рождествено. Меж тем солнце село, и очень скоро стало совсем темно. Братец стал жаловаться, что продрог и устал, и я помог ему сесть верхом на дога, единственного члена экспедиции, который был по-прежнему весел. Брат в совершенном молчании все сваливался со своего неудобного коня, и, как в страшной сказке, лунный свет пересекался черными тенями придорожных гигантов-деревьев. Вдруг нас нагнал слуга с фонарем, посадил на дровни и повез домой.

Mademoiselle стояла на крыльце и выкликала свое безумное «гиди-э». Я скользнул мимо нее. Брат расплакался и сдался. Дог, которого между прочим звали Турка, вернулся к своим прерванным исследованиям в отношении удобных и осведомительных сугробов.

4

В детстве мы лучше видим руки людей, ибо они, эти знакомые руки, витают на уровне нашего роста: мадемуазелины были неприятны мне каким-то лягушачьим лоском тугой кожи по тыльной стороне, усыпанной уже старческой горчицей. До нее никто никогда не трепал меня по щеке — это было отвратительное иностранное ощущение— ока же именно с этого и начала — в знак мгновенного расположения что ли. Все ее ужимки, столь новые для меня после довольно однообразных и сдержанных жестов наших англичанок, ясно вспоминаются мне, как только воображаю ее руки: манера чинить карандаш к себе, к своей огромной бесплодной груди, облеченной в зеленую шерсть безрукавной кофточки поверх блузы; способ чесать в ухе — вдруг совала туда мизинец, и он как-то быстро-быстро там трепетал. И еще-обряд, соблюдавшийся при выдаче чистой тетрадки: со всегдашним легким астматическим пыхтением, округлив по-рыбьи рот, она наотмашь раскрывала тетрадку, делала в ней поле, т. е. резко проводила ногтем большого пальца вертикальную черту и по ней сгибала страницу, после чего тетрадка одним движением обращалась вокруг оси, чтобы поместиться передо мной. В любимую мою сердоликовую вставку она для меня всовывала новое перо и с сырым присвистом слюнила его блестящее острие, прежде чем деликатно обмакнуть его в чернильницу. Ручка с еще чисто-серебряным, только наполовину посиневшим, пером наконец передавалась мне, и, наслаждаясь отчетливостью выводимых букв — особенно потому, что предыдущая тетрадь безнадежно кончилась всякими перечеркиваниями и безобразием — я надписывал «Dictйe», покамест Mademoiselle выискивала в учебнике что-нибудь потруднее да подлиннее.

5

Декорация между тем переменилась. Инеистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в бело-розово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи — все цело, все прелестно, молоко выпито, половина четвертого. Mademoiselle читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью.

Летний день, проходя через ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда Mademoiselle проявляет свою сокровенную суть.

Какое неимоверное количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде, у этого круглого стола, покрытого клеенкой! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единой заминки; это была изумительная чтеческая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Додэ, и длиннейшие, в распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюль Верна в роскошной брошюровке, и Виктора Гюго, и еще много всякой всячины. Она сливалась со своим креслом столь же плотно, столь же органически, как, скажем, верхняя часть кентавра с нижней. Из неподвижной горы струился голос; только губы да самый маленький — но настоящий — из ее подбородков двигались. Ее чеховское пенсне окружало черными ободками два опущенных глаза с веками, очень похожими на этот подбородок-подковку. Иногда муха садилась ей на лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали; но ничто другое не возмущало этого лица, которое, таясь, я так часто рисовал, ибо его простая симметрия гораздо сильнее притягивала мой карандаш, чем ваза с анютиными глазками, будто служившая мне моделью.

Мое внимание отвлекалось — и тут-то выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на крутое летнее облако-и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк этих сбитых сливок в летней синеве. Запоминались навек длинные сапоги, картуз и расстегнутая жилетка садовника, подпирающего зелеными шестиками пионы. Трясогузка пробегала несколько шажков по песку, останавливалась, будто что вспомнив, и семенила дальше. Откуда ни возьмись, бабочка-полигония, сев на верхнюю ступень

веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белую скобочку на аспидном исподе, вспыхивала опять — и была такова.

Постояннейшим же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий прямоугольник — и песок становится пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи. Когда же после всех этих роскошеств обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновенного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой карамарой в углу, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить, и трезво белела скамья под знакомой хвоей; но из всех оконец, в него-то мои герои-изгнанники мучительно жаждали посмотреть.

Mademoiselle так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчащего голоса. В дальнейшем, по возвращении ее в Швейцарию, ее притязания на минувшее оказались совсем другими: «Ah, comme on s'aimait!», — вздыхала она вспоминая, «Как мы веселились вместе! А как бывало ты поверял мне шепотом свои детские горести» (Никогда!) «А уютный уголок в моей комнате, куда ты любил забиваться, так тебе было там тепло и покойно…».

Комната Mademoiselle, и в Выре и в Петербурге, была странным и даже жутким местом. В едком тумане этой теплицы, где глухо пахло, из-под прочих испарений, ржавчиной яблок, тускло светилась лампа, и необыкновенные предметы поблескивали на столиках: лаковая шкатулка с лакричными брусками, которые она распиливала перочинным; ножом на черные кусочки-одно из.

Любимых ее лакомств; самой Помоной украшенная округлая жестянка со слипшимся монпансье-другая ее страсть; толстый слоистый шар, слепленный из серебряных бумажек с тех несметных шоколадных плиток и кружков, которые она ела в постели; цветной снимок—швейцарское озеро и замок с крупицами перламутра вместо окон; несколько кабинетных фотографий-покойного племянника, его матери (расписавшейся «Mater Dolorosa»), таинственного усача, Monsieur de Marante, которого семья заставила жениться на богатой вдове;

главенствовал же над ними портрет в усыпанной поддельными каменьями рамке: на нем была снята вполоборота стройная молодая брюнетка в плотно облегающем бюст платье, с твердой надеждой в глазах и гребнем в роскошной прическе. «Коса до пят и вот такой толщины», — говорила с пафосом Mademoiselle — ибо эта бодрая матовая барышня была когда-то ею, но тщетно недоверчивый глаз силился извлечь из ее теперешних стереоптических очертаний ими поглощенный тонкий силуэт. Нам с братом, увы, были даны как раз обратные откровения: то, чего не могли видеть взрослые, наблюдавшие лишь облаченную в непроницаемые доспехи, дневную Mademoiselle, видели мы, всезнающие дети, когда, бывало, тому или другому из нас приснится дурной сон, и разбуженная звериным воплем, она появлялась из соседней комнаты, босая, простоволосая, подняв перед собою свечу, миганьем своим обращавшую в чешую золотые блестки на ее кроваво-красном капоте, который не прикрывал ее чудовищных колыханий; в эту минуту она казалась сущим воплощением Иезавели из «Atha-lie», дурацкой трагедии Расина, куски которой мы, конечно, должны были знать наизусть вместе со всяким другим лжеклассическим бредом.

6

Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением.

Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то «баллотируются» или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец. Единственной опорой в темноте была щель слегка приоткрытой двери в соседнюю комнату, где горела одна лампочка из потолочной группы, и куда Mademoiselle из своего дневного логовища часов в десять приходила спать. Без этой вертикали кроткого света мне было бы не к чему прикрепиться в потемках, где кружилась и как бы таяла голова. Удивительно приятной перспективой была мне субботняя ночь, та единственная ночь в неделе, когда Mademoiselle, принадлежавшая к старой школе гигиены и видевшая в наших английских привычках лишь источник простуд, позволяла себе роскошь и риск ванны — чем продлевалось чуть ли не на час существование моей хрупкой полоски света. В петербургском доме ей отведенная ванная находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья, и, разрываясь между страхом, что ей вздумается сократить свое торжественное купанье, и завистью к мирному посапыванию брата за ширмой, я никогда не успевал воспользоваться лишним временем и заснуть, пока световая щель в темноте все еще оставалась залогом хоть точки моего я в бездне. И наконец они раздавались, эти неумолимые шаги: вот они тяжело приближаются по коридору и, достигнув последнего колена, заставляют невесело брякать какой-нибудь звонкий предметик, деливший у себя на полке мое бдение. Вот-вошла в соседнюю комнату. Происходит быстрый пересмотр и обмен световых ценностей: свечка у ее кровати скромно продолжает дело лампы, которая, со стуком взбежав на две ступени дивного добавочного света, тут же отменяет его и с таким же стуком тухнет. Моя вертикаль еще держится, но как она тускла и ветха, как

неприятно содрогается всякий раз, что скрипит мадемуазелина кровать… Наступает период упадка: она читает в постели Бурже.

Слышу серебристый шелест оголяемого шоколада и чирканье фруктового ножа, разрезающего страницы новой Revue des Deux Mondes. Я даже различаю знакомый зернистый присвист ее дыханья.

И все время, в ужасной тоске, я стараюсь приманить ненавистный сон, ибо знаю, что сейчас будет. Ежеминутно открываю глаза, чтобы проверить, там ли мой мутный луч. Рай — это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи! И тут-то оно и случается: защелкивается футляр пенсне; шуркнув, журнал перемещается на ночной столик; Mademoiselle бурно дует; с первого раза подшибленное пламя выпрямляется вновь; при втором порыве свет гибнет. Бархатный убийственный мрак ничем не прерван, кроме моих частных беззвучных фейерверков, и я теряю направление, постель тихо вращается, в паническом трепете сажусь и всматриваюсь в темноту. Господи, ведь знают же люди, что я не могу уснуть без точки света, — что бред, сумасшествие, смерть и есть вот эта совершенно черная чернота! Но вот, постепенно приноравливаюсь к ней, взгляд отделяет действительное мерцание от энтоптического шлака, и продолговатые бледноты, которые, казалось, плывут куда-то в беспамятстве, пристают к берегу и становятся слабо, но бесценно светящимися вогнутостями между складками гардин, за которыми бодрствуют уличные фонари.

Невероятными, ничтожными казались эти ночные невзгоды в те восхитительные утра, когда не только ночь, но и зима проваливалась в мокрую синь Невы, и веяло в лицо лирической шероховатой весной северной палеарктики, и можно было с полушубка на бобровом меху перейти на синее пальто с якорьками на медных пуговицах. Сияли крыши, гремел Исакий, и нигде я не видел такой фиолетовой слякоти, как на петербургских мостовых.

On se promenait en voiture-или en йquipage (Ездили кататься в коляске — в экипаже (франц.)), как говорилось по-старинке в русских семьях. Чернослива цвета плюш величественно холмится на груди у Mademoiselle, расположившейся на заднем сиденье открытого ландо с моим торжествующим и заплаканным братцем, которого я, сидя напротив, иногда напоследок лягаю под общим пледом — мы еще дома повздорили; впрочем, обижал я его не часто, но и дружбы между нами не было никакой — настолько, что у нас не было даже имен друг для друга — Володя, Сережа, — и со странным чувством думается мне, что я мог бы подробно описать всю свою юность, ни разу о нем не упомянув.

Ландо катится, машисто бегут лошади, свежо шее, и немного поташнивает; и, надуваясь ветром высоко над улицей, на канатах, поперек Морской у Арки, три полосы полупрозрачных полотнищ-бледно-красная, бледно-голубая и просто линялая — усилиями солнца и беглых теней лишаются случайной связи с каким-то неприсутственным днем, но зато теперь, в столице памяти, несомненно празднуют они пестроту того весеннего дня, стук копыт по торцам, начало кори, распушенное невским ветром крыло птицы, с одним красным глазком, на шляпе у Mademoiselle.

7

Она провела с нами около восьми лет, и уроки становились все реже, а характер ее все хуже. Незыблемой скалой кажется она по сравнению с приливом и отливом английских гувернанток и русских воспитателей, перебывавших у нас; со всеми ними она была в дурных отношениях. Предпосылки ее обид отличались тончайшими оттенками. Летом редко садилось меньше двенадцати человек за стол, а в дни именин и рождений бывало по крайней мере втрое больше, и вопрос, где ее посадят, был для нее жгуч.

Из Батова в тарантасах и шарабанах приезжали Набоковы, Лярские, Рауши, из Рождествена — Василий Иванович, держась за кушак кучера (что отец мой считал неприличным), из Дружноселья — Витгенштейны, из Митюшина — Пыхачевы; были тут и равные отцовские и материнские дальние родственники, компаньонки, управляющие, гувернантки и гувернеры; Рождественский доктор прикатывал на своих легоньких дрожках, запряженных крутошеей цирковой понькой с гривкой, как зубная щетка; и в прохладном вестибюле звучно сморкался и все это упаковывал в платок, и проверял в высоких зеркалах свой белый шелковый галстук милый Василий Мартынович, принесший, в зависимости от сезона, любимые цветы матери или отца — зеленоватые влажные ландыши в туго скрипучем букете или крупный пук словно синеных васильков, перевязанных алой лентой. Интересно, кто заметит, что этот параграф построен на интонациях Флобера.

Особенно зорко следила Mademoiselle за одной из беднейших набоковских родственниц, Надеждой Ильиничной Назимовой, старой девой, кочевавшей всякое лето из одного поместья в другое и слывшей художницей, — она выжигала цветные русские тройки по дереву и переписывалась славянской вязью с сочленами какого-то черносотенного союза. Жидковолосая, с челкой, с громадным, земляничного цвета, лицом, которое было столь скошено набок, вследствие застуженного в печальной молодости флюса, что речь ее, как бы рупорная, казалась направленной в собственное левое ухо, она была уродлива и очень толста, фигурой походя на снежную бабу, т. е. была менее хорошо распределена, чем Mademoiselle. Когда, бывало, эти две дамы плыли одна навстречу другой по широкой аллее парка и безмолвно разминались — Надежда Ильинична с лопухом, пришпиленным ради свежести к волосам, а Mademoiselle под муаровым зонтиком, обе в кушачках и объемистых юбках,

которые ритмично со стороны на сторону мели подолами по песку, они очень напоминали те два пузатых электрических вагона, которые так однообразно и невозмутимо расходились посреди ледяной пустыни Невы. «Je suis une sylphide a cotй de ce monstre» («Я сильфида по сравнению с этим чудовищем» (франц.)), — презрительно говаривала Mademoiselle. Когда же той удавалось пересесть ее за праздничным столом, губы Mademoiselle от обиды складывались в дрожащую ироническую усмешку, и если при этом какой-нибудь простодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то она быстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, и произносила: «Excusez-moi, je souriais a mes tristes pensйes» («Простите, я улыбалась своим грустным мыслям» (франц.)).

Природа постаралась ее наградить всем тем, что обостряет уязвимость. К концу ее пребывания у нас она стала глохнуть. За столом, случалось, мы с братом замечали, как две крупных слезы сползают по ее большим щекам. «Ничего, не обращайте внимания», — говорила она и продолжала есть, пока слезы не затопляли ее; тогда, с ужасным всхлипом, она вставала и чуть ли не ощупью выбиралась из столовой. Добивались очень постепенно пустячной причины ее горя: она, например, все более убеждалась, что если общий разговор временами и велся по-французски, то делалось это по сговору ради дьявольской забавы — не давать ей направлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться в понятную ей речь до возвращения разговора в русский хаос, что неизменно попадала впросак. "А как поживает ваш парламент.

Monsieur Nabokoff?" — бодро выпаливала она, хотя уж много лет прошло со времени Первой Думы. А не то ей покажется, что разговор коснулся музыки, и многозначительно она преподносила:

«Помилуйте, и в тишине есть мелодия! Однажды, в дикой альпийской долине, я-вы не поверите, но это факт — слышала тишину». Невольным следствием таких реплик — особливо когда слабеющий слух подводил ее, и она отвечала на мнимый вопрос — была мучительная пауза, а вовсе не вспышка блестящей, легкой causerie (Болтовни (франц.)). Между тем, сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужто нельзя было забыть поверхностность ее образования, плоскость суждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, как стишки ее любимцев Ламартина и Коппе! Настоящей французской литературе я приобщился не через нее, а через рано открытые мною книги в отцовской библиотеке; тем не менее хочу подчеркнуть, сколь многим обязан я ей, сколь возбудительно и

плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописываются для очищения крови. Потому-то так грустно думать теперь, как страдала она, зная, что никем не ценится соловьиный голос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, все надеясь, что чудом превратится в некую grande prйcieuse (Хозяйку светского салона (франц.)), царящую в золоченой гостиной и блеском ума чарующей поэтов, вельмож, путешественников.

Она бы продолжала ждать и надеяться, если бы не Ленский, розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой, голубой обритой головою и добрыми близорукими глазами, который в десятых годах жил у нас в качестве репетитора. У него было несколько предшевственников, ни одного из них Mademoiselle не любила, но про Ленского говорила, что это le comble (Хозяйку светского салона (франц.)) — дальше идти некуда. Он был довольно неотесанный одессит с чистыми идеалами и, преклоняясь перед моим отцом, откровенно осуждал кое-что в нашем обиходе, как, например, лакеев в синих ливреях, реакционных приживалок,

«снобичность» некоторых забав и, увы, французский язык, неуместный по его мнению в доме у демократа. Mademoiselle, которой за все время их совместного прозябания ни разу не пришло в голову, что Ленский не знает ни слова по-французски, решила, что если он на все ей отвечает мычанием (чудак, за неимением других прикрас, старался по крайней мере его германизировать), то делает он это с намерением ее грубо оскорбить и осадить при всех — ведь никто за нее не заступится. Это были незабываемые сцены, и постоянное повторение их не делало чести уму ни той, ни другой стороне.

Сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ.

Mademoiselle просила соседа передать ей хлеб, а сосед кивал, бурча что-то вроде «их денке зо аух», и спокойно продолжал хлебать суп; при этом в Надежде Ильиничне, не жаловавшей Mademoiselle за сожжение Москвы, а Ленского за распятие Христа, злорадство боролось с сочувствием. Наконец, преувеличенно широким движением, Mademoiselle ныряла через тарелку Ленского по направлению к корзинке с французской булкой и втягивалась обратно через него же, крикнув «Merci, Monsieur!» с такой сокрушительной интонацией, что пушком поросшие уши Ленского становились алее герани. «Скот? Наглец! Нигилист!»- всхлипывая, жаловалась она моему брату, смирно сидевшему на ее постели, — которая давно переехала из смежной с нами комнаты в ее собственную.

В нашем петербургском особняке был небольшой водяной лифт, который всползал по бархатистому каналу на третий этаж вдоль медленно спускавшихся подтеков и трещин на какой-то внутренней желтоватой стене, странно разнящейся от гранита фронтона, но очень похожей на другой, тоже наш, дом со стороны двора, где были службы и сдавались, кажется, какие-то конторы, судя по зеленым стеклянным 'колпакам ламп, горящих среди ватной темноты в тех скучных потусторонних окнах. Оскорбительно намекая на ее тяжесть, этот лифт часто бастовал, и Mademoiselle бывала принуждена, со многими астматическими паузами, подниматься по лестнице. К ней навстречу по этим ступеням тяжеловато, но резво сбегал, бывало, Ленский, и в течение двух зим она доказывала, что, проходя, он непременно толкнет ее, пихнет, собьет с ног, растопчет ее безжизненное тело. Все чаще и чаще уходила она из-за стола, — и какой-нибудь пломбир или профит-роль, о котором она бы пожалела, дипломатично посылался ей вдогонку. Из глубины как бы все удалявшейся комнаты своей она писала матери письма на шестнадцати страницах, и мать спешила наверх и заставала ее трагически укладывающей чемодан в присутствии удрученного Сережи. И однажды ей дали доуложиться.

8

Она переехала куда-то, мы еще иногда виделись, а в самом начале Первой мировой войны она вернулась в Швейцарию.

Советская революция переместила нас на полтора года в Крым, а оттуда мы навсегда уехали за границу. Я учился в Англии, в Кембриджском Университете, и как-то во время зимних каникул, в 1921 г., что ли, поехал с товарищем в Швейцарию на лыжный спорт — и на обратном пути, в Лозанне, посетил Mademoiselle.

Еще потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенно глухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Ей должно быть было лет семьдесят — возраст свой она всегда скрывала с какой-то страстью и могла бы сказать «l'bge est mon seul trйsor» («Годы — мое единственное сокровище» (франц,)). Изображение Шильонского замка заменила аляповатая тройка, выжженная на крышке лаковой шкатулки. Она с таким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее утерянная родина. И то сказать: в Лозанне проживала целая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой; они жались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями о прошлом, образуя странно ностальгический островок среди чуждой стихии: «Аргентинцы изнасиловали всех наших молодых девушек», — уверяла все еще красноречивая Mademoiselle. Лучшим ее другом была теперь сухая старушка, похожая на мумию подростка, бывшая гувернантка моей матери, M-lle Golay, которая тоже вернулась в Швейцарию, причем они не разговаривали друг с другом, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертная любовь этих бедных созданий к далекой и между нами говоря довольно страшной стране, которой они по-настоящему не знали и в которой никакого счастья не нашли.

Так как беседа мучительно осложнялась глухотой Mademoiselle, мы с приятелем решили принести ей в тот же день аппарат, на который ей явно не хватало средств. Сначала она неправильно приладила сложный инструмент, что впрочем не помешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, посильно изображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит даже мой шепот. Между тем этого не могло быть, ибо, озадаченный и огорченный поведением машинки, я не сказал ни слова, а если бы заговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища, заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самое молчание, к которому прислушивалась когда-

то в уединенной долине: тогда она себя обманывала, теперь меня.

Прежде, чем покинуть Лозанну, я вышел пройтись вокруг озера холодным, туманным вечером. В одном месте особенно унылый фонарь разбавлял мглу, и, проходя через его тусклую ауру, туман обращался в бисер дождя. Вспомнилось: «II pleut toujours en Suisse» («В Швейцарии всегда идет дождь» (франц.)) — утверждение, которое некогда доводило Mademoiselle до слез.

«Mais non, — говорила она, — il fait si beau» (^ «Да нет же, погода там такая хорошая» (франц.)), — и от обиды не могла определить точнее это «beau». За парапетом шла по воде крупная рябь, почти волна — когда-то поблизости чуть не погибла в бурю Жюли де Вольмар. Вглядываясь в тяжело плещущую воду, я различил что-то большое и белое. Это был старый, жирный, неуклюжий, похожий на удода, лебедь. Он пытался забраться в причаленную шлюпку, но ничего у него не получалось.

Беспомощное хлопанье его крыльев, скользкий звук его тела о борт, колыханье и чмоканье шлюпки, клеенчатый блеск черной волны под лучом фонаря — все это показалось мне насыщенным странной значительностью, как бывает во сне, когда видишь, что кто-то прижимает перст к губам, а затем указывает в сторону, но не успеваешь досмотреть и в ужасе просыпаешься.

Память об этой пасмурной прогулке вскоре заслонилась другими впечатлениями; но когда года два спустя я узнал о смерти сироты-старухи (удалось ли мне вызволить ее из моих сочинений, не знаю), первое, что мне представилось, было не ее подбородки, и не ее полнота, и даже не музыка ее французской речи, а именно тот бедный, поздний, тройственный образ: лодка, лебедь, волна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Проснешься, бывало, летним утром и сразу, в отроческом трепете, смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, то валишься назад на подушки; не стоит и растворять ставни, за которыми заранее видишь всю досадную картину — свинцовое небо, рябую лужу, потемневший гравий, коричневую кашицу опавших соцветий под кустами сирени и преждевременно блеклый древесный листок, плоско прилипший к мокрой садовой скамейке! Но если ставни щурились от ослепительно-росистого сверканья, я тотчас принуждал окно выдать свое сокровище: одним махом комната раскалывалась на свет и тень. Пропитанная солнцем березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая 'бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какою мне довелось опять насладиться только много лет спустя в горноборовой зоне Колорадо.

Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно: есть солнце — будут и бабочки. Началось все это, когда мне шел седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона — до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом!

Великолепное, бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаячьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклоненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желанья. Один из слуг — тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре — ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкал, где пленнице полагалось и ночь умереть от нафталина; но когда m другое утро Mademoiselle отперла шкап, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и все продолжала лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там-за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеко-лымска — где она потеряла одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где наконец, после сорокалетней погони, я настиг ее и ударом рампетки «сбрил» с

ярко-желтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Боулдером. Бывало, влетев в комнату, пускалась

> цветная бабочка в шелку,
> порхать, шуршать и трепетать по
> голубому потолку

— цитирую по памяти изумительные стихи Бунина (единственного русского поэта, кроме Фета, «видевшего» бабочек). Бывало, большая глянцевито-красная гусеница переходила тропинку и оглядывалась на меня. А вскоре после шкапной истории я нашел крупного замшевого, с цепкими лапками, сфинкса на окне парадного крыльца, и моя мать усыпила его при помощи эфира. Впоследствии я применял разные другие средства, но и теперь малейшее дуновение, отдающее тем первым снадобьем, сразу распахивает дверь прошлого; уже будучи взрослым юношей и находясь под эфиром во время операции аппендицита, я в наркотическом сне увидел себя ребенком с неестественно гладким пробором, в слишком нарядной матроске, напряженно расправлявшим под руководством чересчур растроганной матери свежий экземпляр глазчатого шелкопряда. Образ был подчеркнуто ярок, как на коммерческой картинке, приложенной к полезной забаве, хотя ничего особенно забавного не было в том, что расправлен и распорот был собственно я, которому снилось все это — промокшая, пропитанная ледяным эфиром вата, темнеющая от него, похожая на ушастую беличью мордочку, голова лелкопряда с перистыми сяжками, и последнее содроганье;го расчлененного теле, и тугой хряск булавки, правильно проникающей в мохнатую спинку, и осторожное втыкание испольно увесистого существа в пробковую щель расправилки, и симметричное расположенье под приколотыми полосками чертежной бумаги широких, плотных, густо опыленных крыльев, с матовыми оконцами и волнистой росписью орхидейных оттенков.

2

В петербургском доме была у отца большая библиотека; постепенно туда переходило кое-что и из вырского, где стены внутренней галереи, посреди которой поднималась лестница, были уставлены полками с книгами; добавочные залежи находились в одном из чуланов верхнего палубооб-разного этажа. Мне было лет восемь, когда, роясь там, среди «Живописного Обозрения» и Graphic'a в мраморных переплетах, гербариев с плоскими фиалками и шелковистыми эдельвейсами, альбомов, из которых со стуком выпадали твердые, с золотым обрезом, фотографии неизвестных людей в орденах, и всяких пыльных разрозненных игр вроде хальмы, я нашел чудные книги, приобретенные бабушкой Рукавишниковой в те дни, когда ее детям давали частные уроки зоолог Шимкевич и другие знаменитости. Помню такие курьезы, как исполинские бурые фолианты монументального произведения Альбертуса Себа (Locuptetissirni Rerum Naturalilim Thesauri Accurata Descriptio…), Амстердам, около 1750 года: на их желтоватых, грубо шершавых страницах гравированы были и змеи и раковины и странно-голенастые бабочки, и в стеклянной банке за шею подвешенный зародыш эфиопского младенца женского пола; часами я разглядывал гидру на таблице СП-ее семь драконовых голов на семи длинных шеях, толстое тело с пупырками и витой хвост. Из волшебного чулана я в объятиях нес к себе вниз, в угловой кабинетик, бесценные томы: тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан (1647–1717), и Die Smetter-linge (Эрланген, 1777) гениального Эспера, и Буадювалевы Icфnes Historiques de Lйpidoptires Nouveaux ou Peu Connus (Париж, 1832 года и позже). Еще сильнее волновали меня работы, относящиеся ко второй половине девятнадцатого столетия — Natural History of British Butterflies and Moths Ньюмана, Die Gross-Schmetterlinge Europas Гофмана, замечательные Мйmoires вел. кн. Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русско-азиатским бабочкам, с несравненно-прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга, и классический труд великого американца Скуддера, Butterflies of New England.

Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставши хорошо

поставленным делом, которым заведовали немцы: верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определений бабочек; даже и поныне, через полвека после его смерти, среднеевропейской, а также и русской, лепидоптерологии (почти не существующей, впрочем, при советах) далеко не удалось сбросить гипнотическое иго его авторитета. Штаудингер был еще жив, когда его школа начала терять свое научное значение в мире. Между тем как он и его приверженцы консервативно держались видовых и родовых названий, освященных долголетним употреблением, и классифицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу любителя, англо-американские работники вводили номенклатурные перемены, вытекавшие из строгого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на кропотливом изучении сложных органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли не до уровня филателии.

Забота штаудингерьянцев о «рядовом собирателе», которого не следует заставлять препарировать, до смешного похожа на то, как современные издатели романов пестуют «рядового читателя», которого не следует заставлять думать.

Обозначилась о ту пору и другая, более общая, перемена.

Викторианское и штаудингеровское понятие о виде как о продукте эволюции, подаваемом природой коллекционеру на квадратном подносе, т. е. как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с кое-какими лишь внешними разновидностями (полярными, островными, горными), сменилось новым понятием о многообразном, текучем, тающем по краям виде, органически состоящем из географических рас (подвидов); иначе говоря, вид включил разновидности. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела, и одновременно с этим биологические исследования чешуекрылых были усовершенствованы до неслыханной тонкости — и заводили в те тупики природы, где нам мерещится основная тайна ее. В этом смысле загадка «мимикрии» всегда пленяла меня — и тут английские и русские ученые делят лавры — я чуть не написал «ларвы» — поровну. Как объяснить, что замечательная гусеница буковой ночницы, наделенной во взрослой стадии странными членистыми придатками и Другими особенностями, маскирует свою гусеничную сущность тем, что принимается «играть» двойную роль какого-то длинноногого, корчащегося насекомого и муравья, будто бы поедающего его, — комбинация, рассчитанная на отвод птичьего глаза? Как объяснить, что южноамериканская

бабочка-притворщица, в точности похожая и внешностью и окраской на местную синюю осу, подражает ей и в том, что ходит по-осиному, нервно шевеля сяжками? Таких бытовых актеров среди бабочек немало. А что вы скажете о художественной совести природы, когда, не довольствуясь тем, что из сложенной бабочки каллимы она делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельком, она кроме того на этом «осеннем» крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые проедают именно в таких листьях жучьи личинки? Мне впоследствии привелось высказать, что «естественный подбор» в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением постоянно встречающегося математически невероятного совпадения хотя бы только трех факторов подражания в одном существе — формы, окраски и поведения (т. е. костюма, грима и мимики); с другой же стороны, и «борьба за существование» ни при чем, так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага — птицы, что ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста. Таким образом, мальчиком, я уже находил в природе то сложное и «бесполезное», которого я позже искал в другом восхитительном обмане — в искусстве.

3

В отношении множества человеческих чувств — надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели — полвека моих приключений с бабочками, и ловитвенных и лабораторных, стоит у меня на почетнейшем месте. Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу в личных молниях и посильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то — признаюсь — вскипаю непонятным волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия — изнурительные труды, изменения, внесенные мной в систематику, революцию с казнями коллег в светлом кругу микроскопа, образ и вибрацию во мне всех редкостных бабочек, которых я сам и поймал и описал, и свою отныне бессмертную фамилью за придуманным мною латинским названием или ее же, но с малой буквы, и с окончанием на латинское «i» в обозначении бабочек, названных в мою честь. И как бы на горизонте этой гордыни, сияют у меня в памяти все те необыкновенные, баснословные места — северные трясины, южные степи, горы в четырнадцать тысяч футов вышины, — которые с кисейным сачком в руке я исходил и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках.

Я рано понял то, что так хорошо поняла мать в отношении подберезовиков: что в таких случаях надо быть одному. В течение всего моего детства и отрочества я маниакально боялся спутников, и конечно ничто в мире, кроме дождя, не могло помешать моей утренней пятичасовой прогулке. Мать предупреждала гувернеров и гувернанток, что утро принадлежит мне всецело, — и они благоразумно держались в стороне. По этому поводу вспоминаю: был у меня в Тенишевском Училище трогательный товарищ, мешковатый заика с длинным бледным лицом; другие дразнили его, а мне, с моими крепкими кулаками, нравилось защищать его из спортивного щегольства. Как-то летом, поздно вечером, весь в пыли, с разбитым коленом, он неожиданно явился к нам в Выру. Его отец недавно умер, семья была разорена, и, за недостатком денег на железнодорожный билет, бедняжка проделал верст сорок на велосипеде. На другое утро, встав спозаранку, я сделал все возможное, чтоб покинуть дом без его ведома.

Отчаянно тихо я собрал свои охотничьи принадлежности — сачок, зеленую жестянку на ремне, конвертики и коробочки для поимок — и через окно классной выбрался наружу. Углубившись

в чащу, я почувствовал, что спасен, но все продолжал быстро шагать, с дрожью в икрах, со слезами в глазах, и сквозь жгучую призму стыда представлял себе кроткого гостя с его большим бледным носом и траурным галстуком, валандающимся в саду, треплющим от нечего делать пыхтящих от зноя собак — и старающимся как-нибудь оправдать мое жестокое отсутствие.

Кажется, только родители понижали мою безумную, угрюмую страсть. Бывало, мой столь невозмутимый отец вдруг с искаженным лицом врывался ко мне в комнату с веранды, хватал сачок и кидался обратно в сад, чтоб минут десять спустя вернуться с продолжительным стоном на «Аааа» — упустил дивного эль-альбума! Потому ли, что «чистая наука» только томит или смешит интеллигентного обывателя, но, исключив родителей, вспоминаю по отношению к моим бабочкам только непонимание, раздражение и глум. Если даже такой записной любитель природы, как Аксаков, мог в бездарнейшем «Собирании бабочек» (приложение к студенческим «Воспоминаниям») уснастить свою благонамеренную болтовню всякими нелепицами (не знаю, был ли он более сведущ насчет всяких славянофильских чирков и язей), можно себе представить темноту рядового образованного человека в этом вопросе. До сих пор вспоминаю с беспомощной досадой, как наш сельский врач, милейший доктор Розанов, которому, как человеку ученому, я, доверчивый десятилетний мальчик, оставил на попечение драгоценные синеватые куколки редкой совки (боялся взять их с собой в заграничное путешествие), преспокойно написал мне в Биарриц, что они отлично вылупились, — но на самом деле их вероятно пожрала мышь, ибо по моем возвращении обманщик торжественно преподнес мне каких-то потертых крапивниц, почему-то обложенных ватой, которых крестьянские ребята верно наловили ему в его же саду. Мне рано открылось и другое обстоятельство, а именно то, что энтомолог, смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то странное в своих ближних. Бывало, собираемся на пикник с кузенами, и я, памятуя, что рядом с избранной рощей есть замечательный заповедничек, тихо, никому не мешая, но уже чувствуя, что Действую домашним на нервы, заранее несу свои скромные принадлежности в шарабан, отдающий дегтем, или красный автомобиль, отдающий чаем (так пах бензин в 1910 году), и какая-нибудь пожилая родственница или чужая гувернантка с усами говорит: «Vraiment Volodya (Право, Володя (франц.))оставил бы сетку дома хоть этот раз. Ведь будете играть в каш-каш и казаки-разбойники — при чем тут бабочки? Неужели тебе нравится портить всем удовольствие?». У придорожного

знака «Nach Bodenlaube»(«К Боденлаубе» (нем..)) в Бад Киссингене (Бавария), только что я догнал вышедших на прогулку отца и монументального бледнолицего Муромцева, недавнего председателя Первой Думы, как он обратил ко мне свою мраморную голову и важно проговорил: «Смотри, мальчик, только не гоняться за бабочками: это портит ритм прогулки». На тесной от душистых кустов тропинке, спускавшейся из Гаспры (Крым) к морю ранней весной 1918 года, какой-то большевицкий часовой, колченогий дурень с серьгой в одном ухе, хотел меня арестовать за то, что, дескать, сигнализирую сачком английским судам. Летом 1929 года, когда я собирал бабочек в Восточных Пиренеях, не было кажется случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я оглянулся и не увидел каменеющих по мере моего прохождения поселян, точно я был Содом, а они жены Лота, Еще через десять лет, в Приморских Альпах, я однажды заметил, как за мной извилисто-тихо, по-змеиному, зыблется трава, и, пойдя назад, наступил на жирного полевого жандарма, который полз на животе, уверенный, что я беззаконно ловлю певчих птиц для продажи. Америка выказала пожалуй еще больше нездорового интереса по отношению ко мне. Угрюмые фермеры молчаливым жестом указывали мне на надпись «Удить воспрещается»; из проносившихся по шоссе автомобилей доносился издевательский рев; сонные собаки, равнодушные к зловоннейшему бродяге, настораживались и, рыча, шли на меня; малютки надрывно спрашивали — что же это такое? у своих озадаченных мам; старые опытные туристы хотели знать, не рыболов ли я, собирающий кузнечиков для насадки; журнал «Лайф» звонил, спрашивая, не хочу ли я быть снятым в красках, преследующим популярных бабочек, с популярным объяснительным текстом; и однажды, в пустыне, где-то в Новой Мексике, среди. высоких юкк в лилейном цвету и натуженных кактусов, за мною шла в продолжение двух-трех миль огромная вороная кобыла.

4

Когда, отряхнув погоню, я сворачивал с рыхлой красной дороги в парк, чтобы добраться через него до полей и леса, оживление и блеск молодого лета были как трепет сочувствия ко мне со стороны единодушной природы. Тут весной, высоко и слабо, между елок вился шелковисто-лазоревый аргиол; едва заметный, темный, на зеленой подкладке, хвостатик посещал цветущую чернику; мчалась через прогалины белая, с оранжевыми кончиками, аврора; теперь же, в июне, тихо порхала, где тень и трава, вдоль троп и у мостиков, черная со ржавчиной эребия, появлявшаяся с таинственным постоянством только каждый второй год; и тут же грелась, раскрывшись, на листьях молодых осинок, красно-черная, испещренная мелом, евфидриада. Вот сложилась полупрозрачная, в графитовых жилках, боярышница, присевшая на расцветший от одного взгляда памяти придорожный репейник, и с него же снялись, стрельнув вверх один за другим, два самца червонной лицены: выше и выше поднимаются они, дерясь, а затем победитель возвращается на свой цветок, где уже боярышницу сменила резвая, рыжая, изумрудно-перламутровая с исподу, аглая.

Все это были обыкновенные насекомые, но всякую минуту могло перебить стук сердца появление чего-нибудь, давно мечтавшегося, необычайного. Помню, как однажды я заметил на веточке у калитки парка имевшуюся у меня только в купленных экземплярах, драгоценнейшую, темно-коричневую, украшенную тонким, белым зигзагом с изнанки, тэклу. Ее наблюдали в губернии лишь раз до меня, и вообще это была прелестная редкость. Я замер. Ударить по ней мне было не с руки, — она сидела у самого моего правого плеча, и я с бесконечными предосторожностями стал переводить сачок за спиной из одной руки в другую; тэкла между тем ждала с хитреньким выражением крыльев: они были плотно сжаты, и нижние, снабженные усикоподобными хвостиками, терлись друг о дружку дискообразным движением-быть может производя стрепет, слишком высокий по тону, чтобы человек мог его уловить. Наконец, с размаху, я свистнул по ней рампеткой. Мы все слыхали стон теннисиста, когда, на краю победы промазав легкий мяч, он в ужасной муке вытягивается на цыпочках, откинув голову и приложив ладонь ко лбу. Мы все видали лицо знаменитого гроссмейстера, вдруг подставившего ферзя местному любителю, Борису Исидоровичу Шаху. Но никто не присутствовал при том, как я вытряхивал веточку из сетки и глядел на дырку в

кисее.

5

Утреннюю неудачу иногда возмещала ловля в сумерки или ночью. На крайней дорожке парка лиловизна сирени, перед которой я стоял в ожидании бражников, переходила в рыхлую пепельность по мере медленного угасания дня, и молоком разливался туман по полям, и молодая луна цвета Ю висела в акварельном небе цвета В. Во многих садах атак стаивал я впоследствии — в Афинах, Антибах, Атланте, Лос-Анжелесе, — но никогда, никогда не изнывал я от таких колдовских чувств, как тогда, перед сереющей сиренью. И вот начиналось: ровное гудение переходило от цветка к цветку, и мерцающим призраком повисал розово-оливковый сфинкс, как колибри, перед венчиком, который он с воздуха пытал длинным хоботком. Его красавица-гусеница, миниатюрная кобра с очковыми пятнами на передних сегментах, которые она умела забавно раздувать, водилась в августе в сырых местах, на высоких розовых цветах царского чая (эпилобия). Так. всякое время дня и года отличалось другим очарованием. В угрюмые ночи, поздней осенью, под ледяным дождем, я ловил ночниц на приманку, вымазав стволы в саду душистой смесью патоки, пива и рома: среди мокрого черного мрака мой фонарь театрально освещал липко-блестящие трещины в дубовой коре, где, по три-четыре на каждый ствол, сказочно-прекрасные катокалы впитывали пьяную сладость коры, нервно подняв, как дневные бабочки, крупные полураскрытые крылья и показывая невероятный, с черной перевязью и белой оборкой, ярко-малиновый атлас задних из-под ли-шаеватых передних. «Катокала адультера!» — восторженно орал я по направлению освещенного окна и спотыкаясь бежал в дом показывать отцу улов.

6

Парк, отделявший усадьбу от полей и лесов, был дик и дремуч в приречной своей части. Туда захаживали лоси, что менее сердило нашего сторожа Ивана, степенного, широкоплечего старика с окладистой бородой, чем беззаконное внедрение случайных дачников. Были и прямые тропинки и вьющиеся, и все это переплеталось, как в лабиринте. Еще в первые годы изгнания моя мать и я могли без труда обойти весь парк, и старую и новую его часть, по памяти, но теперь замечаю, что Мнемозина начинает плутать и растерянно останавливается в тумане, где там и сям, как на старинных картах, виднеются дымчатые, таинственные пробелы: терра инкогнита.

В некошеных полях за парком воздух переливался бабочками среди чудного обилья ромашек, скабиоз, колокольчиков, — все это скользит у меня сейчас цветным маревом перед глазами, как те пролетающие мимо широких окон вагона-ресторана бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать пленному пассажиру. А за полями поднимался, как темная стена, лес.

Часами блуждая по трущобе, я любил выискивать мелких пядениц, принадлежащих к роду «евпитеций»: эти нежные ночные существа, размером с ноготок, днем плотно прикладываются к древесной коре, распластав бледные крыльца и приподняв крохотное брюшко.

Видов их описано огромное количество, и если природа подтушевала этих бабочек под сероватые поверхности (точно обособив, впрочем, узорную ливрею каждого вида), зато их гусенички, живущие на низких растениях, окрашены в яркие тона цветочных лепестков. Медленно кружась в солнечной млсии, осматривая со всех сторон ствол за стволом, — о, как я мечтал в те годы открыть новый вид евпитеции! Мое пестрое воображение, как бы заискивая передо мной и потворствуя ребенку (а на самом деле, где-то за сценой, в заговорщичьей тиши, тщательно готовя распределение событий моего далекого будущего), преподносило мне призрачные выписки мелким шрифтом: «Единственный известный экземпляр Eupithecia petropolitanata был взят русским школьником (или „молодым собирателем…“ или еще лучше „автором“…) в Царскосельском уезде Петербургской губернии, в 1912 г… 1913 г… 1914 г…».

А затем наступило одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал потребность хорошенько исследовать обширную болотистую местность, простиравшуюся за Оредежью. Пройдя

пять-шесть верст вдоль реки, я наконец перешел ее по узкому упруго-досчатому мостику, откуда видать было избенки по ближнему песчаному скату, черемуху, желтые бревна на зеленом бережку и красочные пятна одежд, скинутых деревенскими девчонками, которые, блестя и белеясь в мелкой воде, кричали, окунались, плескались, столь же мало заботясь о прохожем, как если бы он был моим нынешний бесплотным послом.

На противоположном низком берегу, где начиналась арктика, густое сборище мелких бабочек, состоявшее главным образом из самцов голубянок, пьянствовало на черной грязи, жирно растоптанной и унавоженной коровами, и весь лазоревый рой поднялся на воздух из-под моих ног и померцав, снова опустился по моем прохождении. Продравшись сквозь растрепанный, низкорослый сосняк, я достиг моего мохового, седого и рыжеватого рая. Не успел слух уловить характерный зуд двукрылых, кочковое чмоканье, приглушенный кряк дупеля, как я был уже окружен теми полярными бабочками, которых знал только по ученым описаниям, ибо всякие шметтерлингсбухи с картинками для среднеевропейских простаков, если вообще упоминали эти северные редкости, не считали нужным их иллюстрировать, — "потому что рядовой любитель вряд ли когда-либо на них набредет", — фраза, которая меня бесит и в пошлых ботанических атласах в применении к редким растениям. Теперь же я видел их не только воочию, не только вживе, а в естественном гармоническом взаимоотношении с их родимой средой. Мне кажется, что это острое и чем-то приятно волнующее ощущение экологического единства, столь хорошо знакомое современным натуралистам, есть новое, или по крайней мере по-новому осознанное чувство, — и что только тут, по этой линии, парадоксально намечается возможность связать в синтез идею личности и идею общности.

Над кустиками голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод; над карим блеском до боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и валежником; над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными фиалками, темно-коричневая с лиловизной болория скользила низким полетом, проносилась гонобоблевая желтянка, отороченная черным и розовым, порхали между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энеисы. Едва замечая уколы комаров, которые как паюсной икрой вдруг покрывали голую по локоть руку, я становился на одно колено, чтобы с мычанием сладчайшего удовольствия сжать двумя пальцами сквозь кисею сачка трепетную грудку синей, с серебряными точками с исподу, диковинки и любовно

высвободить сверкающего маленького мертвеца из складок сетки, — даже на нее садились обезумевшие от моей близости комары. Мои пальцы пахли бабочками — ванилью, лимоном, мускусом, — ноги промокли до пахов, губы запеклись, колотилось сердце, но я все шел да шел, держа наготове сачок.

Наконец я добрался до конца болота. Подъем за ним весь пламенел местными цветами — лупином, аквилией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега Longs Peak.

Далеко я забрел, — однако былое у меня все под боком, и частица грядущего тоже со мной. В цветущих зарослях аризонских каньонов, высоко на рудоносных склонах Сан-Мигуэльских Гор, на озерах Тетонского урочища и во многих других суровых и прекрасных местностях, где все тропы и яруги мне знакомы, каждое лето летают и будут летать мною открытые, мною описанные виды и подвиды. «Именем моим названа — » нет, не река, а бабочка в Аляске, другая в Бразилии, третья в Ютахе, где я взял ее высоко в горах, на окне лыжной гостиницы-та Eupithecia nabokovi McDunnough, которая таинственно завершает тематическую серию, начавшуюся в петербургском лесу. Признаюсь, я не верю в мимолетность времени-легкого, плавного, персидского времени!

Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Споткнется или нет дорогой посетитель, это его дело. И высшее для меня наслаждение — вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства-это наудачу выбранный пейзаж, все равно в какой полосе, тундровой или полынной, или даже среди остатков какого-нибудь старого сосняка у железной дороги между мертвыми в этом контексте Олбани и Скенектеди (там у меня летает один из любимейших моих крестников, мой голубой samuelis) — словом, любой уголок земли, где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто, не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется, чтобы заполнить ее, все, что я люблю в мире. Это вроде мгновенного трепета умиления и благодарности, обращенной, как говорится в американских официальных рекомендациях, to whom it may concern — не знаю, к кому и к чему, — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного

счастливца.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В железнодорожном агентстве на Невском была выставлена двухаршинная модель коричневого спального вагона: международные составы того времени красились под дубовую обшивку, и эта дивная, тяжелая с виду вещь с медной надписью над окнами далеко превосходила в подробном правдоподобии все мои, хорошие, но явно жестяные и обобщенные, заводные поезда. Мать пробовала ее купить; увы, бельгиец-служащий был неумолим. Во время утренней прогулки с гувернанткой или воспитателем я всегда останавливался и молился на нее. Иметь в таком портативном виде, держать в руках так запросто вагон, который почти каждую осень нас уносил за границу, почти равнялось тому, чтобы быть и машинистом, и пассажиром, и цветными огнями, и пролетающей станцией с неподвижными фигурами, и отшлифованными до шелковистости рельсами, и туннелем в горах. Снаружи сквозь витрину модель была доступнее влюбленному взгляду, чем изнутри магазина, где мешали какие-то плакаты… Можно было разглядеть в проймах ее окон голубую обивку диванчиков, красноватую шлифовку и тисненую кожу внутренних стенок, вделанные в них зеркала, тюльпанообразные лампочки… Широкие окна чередовались с более узкими, то одиночными, то парными. В некоторых отделениях уже были сделаны на ночь постели.

Тогдашний величественный Норд-Экспресс (после Первой мировой войны он уже был не тот), состоявший исключительно из таких же международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было — о, не пересаживаться, а быть переводимым — в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово-Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а березовые дрова — уголь.

В памяти я могу распутать по крайней мере пять таких путешествий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909-му году. Мне кажется, что сестры — шестилетняя Ольга и трехлетняя Елена — остались в Петербурге под надзором нянь и теток. (По словам Елены, я не прав: они тоже участвовали в поездке.) Отец в дорожной кепке и замшевых перчатках сидит с книгой в купе, которое он делит с Максом, тогдашним нашим гувернером. Брат Сергей и я отделены от них проходной туалетной каморкой. Следующее купе, смежное с нашим, занимает мать со своей пожилой горничной Наташей и

расстроенной таксой. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстрелянный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их народу), делит четвертое купе с посторонним-французским актером Фероди.

В апреле того года Пири дошел до Северного полюса. В мае пел в Париже Шаляпин. В июне, озабоченный слухами о новых выводках цеппелинов, американский военный министр объявил, что Соединенные Штаты намерены создать воздушный флот. В июле Блерио на своем монопланчике перелетел из Кале в Дувр (сделав лишний крюк — заблудился). Теперь был август. Ели и болота северо-западной России прошли своим чередом и на другой день, при некотором увеличении скорости, сменились немецкими соснами и вереском. На подъемном столике мать играет со мной в дурачки.

Хотя день еще не начал тускнеть, наши карты, стакан, соли в лежачем флакончике и — на другом оптическом плане — замки чемодана демонстративно отражаются в оконном стекле. Через поля и леса, и в неожиданных оврагах, и посреди убегающих домишек, призрачные, частично представленные картежники играют на никелевые и стеклянные ставки, ровно скользящие по ландшафту.

Любопытно, что сейчас, в 1953-м году, в Орегоне, где пишу это, вижу в зеркале отдельного номера эти же самые кнопки того же именно, теперь пятидесятилетнего, материнского несессера из свиной кожи с монограммой, который мать брала еще в свадебное путешествие и который через полвека вожу с собой: то, что из прежних вещей уцелели только дорожные, и логично и символично.

«Не будет ли? Ты, ведь, устал», — говорит мать, а затем задумывается, медленно тасуя карты. Дверь в коридор отворена, и в коридорное окно видны телеграфные проволоки — шесть тонких черных проволок на бледном небе, — которые поднимаются все выше, с трогательным упорством, вот-вот готовы достигнуть верхнего края оконницы, но всякий раз их сбивает одним махом злостный столб, и приходится им опять подниматься с самого низа.

Когда, на таких поездках, Норд-Экспрессу случалось замедлить ход, чтобы величаво влачиться через большой немецкий город, где он чуть не задевал фронтонов домов, я испытывал двоякое наслаждение, которое тупик конечного вокзала мне доставить не мог. Я видел, как целый город, со своими игрушечными трамваями, зелеными липами на круглых земляных подставках и кирпичными стенами с лупящимися старыми рекламами мебельщиков и перевозчиков, вплывает к нам

в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краев наполняет коридорные окна.

Это соприкосновение между экспрессом и городом еще давало мне повод вообразить себя вон тем пешеходом и за него пьянеть от вида длинных карих романтических вагонов, с черными промежуточными гармониками и огненными на низком солнце металлическими буквами («Compagnie Internationale…»), неторопливо переходящих через будничную улицу и постепенно заворачивающих, со вспышкой всех окон, за последний ряд домов.

Иногда эта переслойка зрительных впечатлений мстила мне.

За длинной чередой качких, узких голубых коридоров, уклоняющихся от ног, нарядные столбики в широкооконном вагоне-ресторане, с белыми конусами сложенных салфеток и аквамариновыми бутылками минеральной воды, сначала представлялись прохладным и стойким убежищем, где все прельщало-и пропеллер вентилятора на потолке, и деревянные болванки швейцарского шоколада в лиловых обертках у приборов, и даже запах и зыбь глазчатого бульона в толстогубых чашках; но по мере того как дело подходило к роковому последнему блюду, все назойливее становилось ощущение, что прозрачный вагон со всем содержимым, включая потных, кренящихся эквилибристов-лакеев (как ужасно напирал один на стол, пропуская сзади другого!), неряшливо и неосторожно вправлен в ландшафт, причем этот ландшафт находится сам в сложном многообразном движении, — дневная луна бойко едет рядом, вровень с тарелкой, плавным веером раскрываются луга вдалеке, ближние же деревья несутся навстречу на невидимых качелях и вдруг совершенно другим аллюром ускакивают, превращаясь в зеленых кенгуру, между тем как параллельная колея сливается с другой, а затем с нашей, и за ней насыпь с мигающей травой томительно поднимается, поднимается, — пока вся эта мешанина скоростей не заставляла молодого наблюдателя вернуть только что поглощенный им омлет с горячим вареньем.

Только ночью оправдывалось вполне волшебное названье «Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Europйens» («Международное Общество спальных вагонов и европейских акспрессов дальнего следования» (франц.)). С моей постели под койкой брата (спал ли он? был ли он там вообще?) я наблюдал в полумраке отделения, как опасливо шли и никуда не доходили предметы, части предметов, тени, части теней. Деревянное что-то потрескивало и скрипело. У двери в уборную покачивалась на крюке одежда или тень одежды, и в такт ей моталась кисть синего двустворчатого колпака, снизу

закрывавшего потолочную лампу, которая бодрствовала за лазурью материи. Эти пошатывания и переборы, эти нерешительные подступы и втягивания было трудно совместить в воображении с диким полетом ночи вовне, которая — я знал — мчалась там стремглав, в длинных искрах.

Я и дома старался бывало заманить сон тем, что пускал сознание по привычному кругу, видя себя, скажем, водителем поезда, а тут и вправду мчало меня. Реалия, замыкаясь дремотой, блаженно обтекала сознание по мере того, как я все так хорошо устраивал, — и беззаботные пассажиры (забота была моя, забота меня дурманила) гордились властителем-машинистом, покуривали, обменивались знающими улыбками, ложились, дремали; а поездная прислуга (которую мне, собственно, некуда было деть) после них пировала в вагоне-ресторане; сам же я, в гоночных очках и весь в масле и саже, высовывался из паровозной будки, стараясь высмотреть сквозь ветер рубиновую точку в черной дали. Но затем, уже во сне, я видел совсем-совсем другое — цветной стеклянный шарик, закатившийся под рояль, или игрушечный паровозик, упавший набок и все продолжавший работать бодро жужжащими колесами.

Течение моего сна иногда прерывалось тем, что ход поезда замедлялся. Тихо шагали мимо огни; проходя, каждый из них заглядывал в ту же щелку, и световой циркуль медленно мерил мрак купе. Поезд останавливался с протяжным вздохом вестингаузовских тормозов. Сверху вдруг падало что-нибудь (например, братние очки). Необыкновенно интересно было подползти к изножию койки — в сопровождении вывороченного одеяла, — дабы осторожно отцепить шторку с нижней кнопки и откатить ее вверх до половины (дальше не пускал край верхней койки). За стеклом был сказочный мир, — сказочный потому, что я его подглядывал нечаянно и беззаконно, без малейшей возможности принять в нем участие. Как сателлиты огромной планеты, бледные ночные бабочки вращались вокруг газового фонаря. Разъединенная на части газета ехала, погоняемая толчками ветра, по вылощенной скамье. Где-то в вагоне слышались глухие голоса, уютное покашливанье. Ничего особенно замечательного не было в случайной части безымянной станции, невинно обнажившейся передо мной и стынувшей, как мои ноги, но почему-то я не мог оторваться от нее, покуда она сама не уезжала-Боже мой, как гладко снимался с места мой волшебный Норд-Экспресс.

На другое утро уже белелась и мчалась мимо мутная Бельгия; кафе-о-ле с отвратительными пенками как-то шло виду в окне, мокрым полям, искалеченным ивам по радиусу канавы, шеренге

тополей, перечеркнутых полосой тумана. Поезд приходил в Париж в четыре пополудни, и, даже если мы там только ночевали, я всегда успевал купить что-нибудь, например маленькую медную Эйфелеву башню, грубовато покрытую серебряной хряской, — прежде, чем сесть в полдень на Сю-Экспресс, который, по пути в Мадрид, доставлял нас к десяти вечера в Биарриц, в нескольких километрах от испанской границы.

2

Биарриц в те годы еще сохранял свою тонкую сущность.

Пыльные кусты ежевики и плевелистые terrains a vendre (Участки для продажи (франц.)), полные прелестных геометрид, окаймляли белую дорогу, ведущую к нашей вилле. Карлтон тогда еще только строился, и суждено было пройти тридцати шести годам до того, как генерал Мак Кроскей займет королевские апартаменты в Отель дю Пале, построенном на месте того дворца, где в шестидесятых годах невероятно изгибчивый медиум Daniel Ноте был пойман, говорят, на том, что босой ступней («ладонью» вызванного духа) гладил императрицу Евгению по доверчивой щеке.

На каменном променаде у казино видавшая виды пожилая цветочница с лиловатыми бровями ловко продевала в петлицу какому-нибудь потентату в штатском тугую дулю гвоздики — он скашивал взгляд на ее жеманные пальцы, и слева у него вспухала складка подбрюдка. Вдоль променада, по задней линии пляжа, глядящего в блеск моря, парусиновые стулья заняты были родителями детей, играющих впереди на песке. Делегату-читателю нетрудно будет высмотреть среди них и меня: стою на голых коленях и стараюсь при помощи увеличительного стекла поджечь найденную в песке гребенку. Щегольские белые штаны мужчин показались бы сегодня комически ссевшимися в стирке; дамы же в летний сезон того года носили бланжезые или гри-перлевые легкие манто с шелковыми отворотами, широкополые шляпы с большими тульями, густые вышитые белые вуали, — и на всем были кружевные оборки — на блузках, рукавах, парасолях. От морского ветра губы становились солеными: пляж трепетал как цветник, и безумно быстро через него проносилась залетная бабочка, оранжевая с черной каймой.

Проходили продавцы разной соблазнительной дряни-орешков чуть слаще моря, витых, золотых леденцов, засахаренных фиалок, нежно-зеленого мороженого и громадных ломких, вогнутых вафель, содержавшихся в красном жестяном бочонке: старый вафельщик с этой тяжелой штукой на согнутой спине быстро шагал по глубокому мучнистому песку, а когда его подзывали, он, рванув ее за ремень, сваливал с плеча на песок и ставил стойком свою красную посудину, затем стирал пот с лица и, получив один су, пальцем приводил в трескучее движение стрелку лотерейного счастья, вращающуюся по циферблату на крышке бочонка: фортуне полагалось определять размер порции, и чем больше выходил кусок вафли, тем мне жальче бывало торговца.

Ритуал купанья происходил в другой части пляжа.

Профессиональные беньеры, дюжие баски в черных купальных костюмах, помогали дамам и детям преодолевать страх и прибой.

Беньер ставил клиента спиной к накатывающей волне и держал его за ручку, пока вращающаяся громада, зеленея и пенясь, бурно обрушивалась сзади, одним мощным ударом либо сбив клиента с ног, либо вознеся его к морскому, разбитому солнцу, вместе с тюленем-спасителем. После нескольких таких схваток со стихией, глянцевитый беньер вел тебя, — отдувающегося, влажно сопящего, дрожащего от холода, — на укатанную отливами полосу песка, где незабвенная босоногая старуха с седой щетиной на подбородке, мифическая мать всех этих океанских банщиков, быстро снимала с веревки и накидывала на тебя ворсистый плащ с капюшоном, В пахнущей сосной купальной кабинке принимал тебя другой прислужник, горбун с лучистыми морщинками; он помогал выйти из набухшего водой, склизкого, отяжелевшего от прилипшего песка, костюма и приносил таз с упоительно горячей водой для омовения ног. От него я узнал и навеки сохранил в стеклянной ячейке памяти, что бабочка на языке басков «мизериколетея».

3

Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колетт. Ей должно было исполниться десять в ноябре, мне исполнилось десять в апреле: Она важно обратила мое внимание на зазубренный осколок фиолетовой раковинки, оцарапавшей ее узкую, длиннопалую ступню. «Je suis Parisienne, — объявила она, — et vous-are you English?» («Я из Парижа, а вы — вы англичанин?» (франц… англ.)) В ее светло-зеленоватых глазах располагались по кругу зрачка рыжие крапинки, словно переплавляющаяся вплавь часть веснушек, которыми было усыпано ее несколько эльфовое, изящное, курносенькое лицо. Оттого что она носила по тогдашней английской моде синюю фуфайку и синие узкие вязаные штаны, закатанные выше колен, я еще накануне принял ее за мальчика, а теперь, слушая ее порывистый щебет, с удивлением видел браслетку на худенькой кисти, шелковистые спирали коричневых локонов, свисавших из-под ее матросской шапочки.

Двумя годами раньше, на этом самом пляже, я был горячо увлечен другой своей однолеткой, — прелестной, абрикосово-загорелой, с родинкой под сердцем, невероятно капризной Зиной, дочкой сербского врача; а еще раньше, в Болье, когда мне было лет пять, что ли, я был влюблен в румынскую темноглазую девочку, со странной фамилией Гика. Познакомившись же с Колетт, я понял, что вот это — настоящее. По сравнению с другими детьми, с которыми я игрывал на пляже в Биаррице, в ней было какое-то трогательное волшебство; я понимал, между прочим, что она менее счастлива, чем я, менее любима: синяк на ее тонко заштрихованном пушком запястье давал повод к ужасным догадкам.

Как-то она сказала по поводу упущенного краба: «Он так же больно щиплется, как моя мама». Я придумывал разные героические способы спасти ее от ее родителей, — господина с нафабренными усами и дамы с овальным, «сделанным», словно эмалированным, лицом; моя мать спросила про них какого-то знакомого, и тот ответил, пожав плечом, «Ce sont de bourgeois de Paris» («Они парижские буржуа» (франц.)). Я по-своему объяснил себе эту пренебрежительную оценку, зная, что они приехали из Парижа в Биарриц на своем сине-желтом лимузине (что не так уж часто делалось в 1909 году), а девочку с фокстерьером и английской гувернанткой послали в скучном «сидячем» вагоне обыкновенного rapide (Скорый поезд (франц.)). Фокстерьер был

экзальтированной сучкой с бубенчиком на ошейнике и виляющим задом. Из чистой жизнерадостности эта собачка, бывало, лакала морскую воду, набранную Колетт в синее ведерко: вижу яркий рисунок на нем-парус, закат и маяк, — но не могу припомнить имя собачки, и это мне так досадно.

За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к этой девочке едва ли не превзошла увлечения бабочками. Я видел ее только на пляже, но мечталось мне о ней беспрестанно. Если она являлась заплаканной, то во мне вскипало беспомощное страдание.

Я не мог перебить комаров, искусавших ее тоненькую шею, но зато удачно отколотил рыжего мальчика, однажды обидевшего ее. Она мне совала горсточками теплые от ее ладони леденцы. Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы ее локонов защекотали мне ухо, и вдруг она поцеловала меня в щеку. От волнения я мог только пробормотать: «You little monkey» («Ах ты, обезьянка» (англ.)).

У меня была золотая монета, луидор, и я не сомневался, что этого хватит на побег. Куда же я собирался Колетт увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По? «La-bas, la-bas dans la montagne» («Туда, туда, скорее в горы» (франц.)), как пела Кармен в недавно слышанной опере. Помню странную, совершенно взрослую, прозрачно-бессонную ночь: я лежал в постели, прислушивался к повторному буханью океана и составлял план бегства. Океан приподнимался, слепо шарил в темноте и тяжело падал ничком.

О самом побеге мне почти нечего рассказать. В памяти только отдельные проблески: Колетт, с подветренной стороны хлопающей палатки, послушно надевает парусиновые туфли, пока я запихиваю в коричневый бумажный мешок складную рампетку для ловли андалузских бабочек. Убегая от погони, мы сунулись в кромешную темноту маленького кинематографа около казино, — что, разумеется, было совершенно незаконно. Там мы сидели, нежно соединив руки поверх фокстерьера, изредка позвякивавшего бубенчиком у Колетт на коленях, и смотрели судорожный, мигающий черным дождичком по белизне, но чрезвычайно увлекательный фильм — бой быков в Сан-Себастьяне. Последний проблеск: гувернер уводит меня вдоль променада: его длинные ноги шагают с грозной целеустремленностью; мой девятилетний брат, которого он ведет другой рукою, то и дело забегает вперед и, подобный совенку в своих больших очках, вглядывается с ужасом и любопытством в невозмутимого преступника.

Среди безделушек, накупленных перед отъездом из Биаррица,

я любил больше всего не бычка из черного камня, с золочеными рогами, и не ассортимент гулких раковин, а довольно символичный, как теперь выясняется, предметик, — вырезанную пенковую ручку, с хрусталиком, вставленным в микроскопическое оконце на противоположном от пера конце. Если один глаз зажмурить, а другой приложить к хрусталику, да так, чтобы не мешал лучистый перелив собственных ресниц, то можно было увидеть в это волшебное отверстие цветную фотографию залива и скалы, увенчанной маяком. И вот тут-то, при этом сладчайшем содрогании Мнемозины, случается чудо: я снова пытаюсь вспомнить кличку фокстерьера, — и что же, заклинание действует! С дальнего того побережья, с гладко отсвечивающих вечерних песков прошлого, где каждый вдавленный пяткой Пятницы след заполняется водой и закатом, доносится, летит, отзываясь в звонком воздухе:

Флосс, Флосс, Флосс!

По дороге в Россию мы остановились на один день в Париже, куда уже успела вернуться Колетт. Там в рыжем, уже надевшем перчатки, парке, под холодной голубизной неба, верно по сговору между ее гувернанткой и нашим Максом, я видел Колетт в последний раз. Она явилась с обручем, и все в ней было изящно и ловко, в согласии с осенней парижской tenue-de-ville-pour-fillettes (Городской наряд для девочек (франц.)). Она взяла из рук гувернантки и передала моему довольному брату прощальный подарок — коробку драже, облитого крашеным сахаром миндаля, — который, конечно, предназначался мне одному; и тотчас же, едва взглянув на меня, побежала прочь, палочкой подгоняя по гравию свой сверкающий обруч сквозь пестрые пятна солнца, вокруг бассейна, набитого листьями, упавшими с каштанов и кленов. Эти листья смешиваются у меня в памяти с кожей ее башмаков и перчаток, и была, помнится, какая-то подробность в ней — ленточка, что ли, на ее шотландской шапочке, или узор на чулках, — похожая на радужные спирали внутри тех маленьких стеклянных шаров, коими иностранные дети играют в агатики. И вот теперь я стою и держу этот обрывок самоцветности, не совсем зная, куда его приложить, а между тем она обегает меня все шибче, катя свой волшебный обруч, и наконец растворяется в тонких тенях, падающих на парковый гравий от переплета проволочных дужек, которыми огорожены астры и газон.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Сейчас тут будут показывать волшебный фонарь, но сперва позвольте сделать небольшое вступление.

Я родился 10-го апреля 1899-го года по старому стилю в Петербурге; брат мой Сергей родился там же, 28-го февраля следующего года. При переходе нашем в отрочество, англичанок и француженок постепенно стали вытеснять отечественные воспитатели и репетиторы, причем, нанимая их, отец как будто следовал остроумному плану выбирать каждый раз представителя другого сословия или племени.

Доисторическим элементом в этом списке был милейший Василий Мартынович, сельский учитель, приходивший знакомить нас с русской грамотой летом 1905-го года. Он помогает мне связать всю серию, ибо мое последнее воспоминание о нем относится к пасхальным каникулам 1915-го года, когда брат и я приехали заниматься лыжным спортом в оснеженную нашу Выру с отцом и с неким Волгиным, последним и худшим нашим гувернером. Добрый Василий Мартынович пригласил нас «закусить»; закуска оказалась настоящим пиршеством, им самим приготовленным, вплоть до великолепного, желтоватого сливочного мороженого, для производства которого у него был особый снаряд. Ярко возникают у меня в памяти лепные морщины его раскрасневшегося лба и прекрасно подделанное выражение удовольствия на лице у моего отца при появлении мясного блюда — жаренного в сметане зайца, — которого он не терпел. Комната Василия Мартыновича в каменном здании образцовой школы, выстроенной отцом, была жарко натоплена. Мои новые лыжные сапоги оказались по мере оттаивания не столь непромокаемыми, как предполагалось, и чувство сырости, сжимавшей щиколотки, неприятно совмещалось с теплом шерстяной рубашки. Глазами, еще слезившимися от ослепительного снега, я старался разобрать висевший на стене так называемый «типографический» портрет Льва Толстого, т. е. портрет, составленный из печатного текста, в данном случае «Хозяина и Работника», целиком пошедшего на изображение автора, причем получилось разительное сходство с самим Василием Мартыновичем.

Мы уже приступили к злосчастному зайцу, как распахнулась дверь, и запыхавшийся, заиндевелый, закутанный в бабий оренбургский платок, батовский слуга Христофор внес боком, с глупой улыбкой, большую корзину с торчащими бутылками и всякой снедью, которую бабушка, зимовавшая в своем Батове, по бестактности сочла нужным послать нам на тот случай, если бы

Василий Мартынович нас не докормил. Раньше, чем хозяин мог успеть обидеться, отец велел лакею ехать обратно с нераспакованной корзиной и краткой запиской по-французски, удивившей вероятно бабушку, как удивляли ее все поступки сына. В кружевных митенках, пышном шелковом пеньюаре, напудренная, с округленной под мушку черной родинкой на розовой щеке, она казалась стилизованной фигурой в небольшом историческом музее, и таким же экспонатом казалась ее голубая кушетка, на которой она лежала целый день, обмахиваясь веером из слоновой кости, поглощая круглые леденцы-бульдегомы и все сетуя о том, что некие темные силы, опутав любимейшего из ее сыновей, отвлекли его от блестящей чиновной карьеры.

Особенно недоумевала она, как это мой отец, столь ценивший радости, доступные только при большом состоянии, может богатством рисковать, сделавшись либералом, т. е. поборником революции, которая (как она совершенно правильно предугадала) должна в конце концов привести его к нищете.

2

Василий Мартынович был сыном плотника. Следующая картинка в моем волшебном фонаре изображает молодого человека, которого назову А., сына дьякона. На прогулках с братом и со мной, в холодноватое лето 1907-го года, он носил черный плащ с серебряной пряжкой у шеи. В лесных дебрях, на глухой тропе под тем деревом, где когда-то повесился таинственный бродяга, А. нас забавлял довольно кощунственным представлением. Изображая нечто демоническое, хлопая черными, вампировыми крыльями, он медленно кружился вокруг старой угрюмой осины, прямой участницы драмы. Как-то сырым утром, во время этой пляски плаща, он ненароком смахнул с собственного носа очки, и, помогая их искать, я нашел у подножья дерева самца и самку весьма редкого в наших краях амурского бражника, — чету только что вылупившихся, восхитительно бархатистых, лиловато-серых существ, мирно висевших in copula (вместе (лат.)) с травяного стебля, за который они уцепились шеншилевыми лапками.

Осенью того же года А. поехал с нами в Биарриц, и там же внезапно покинул нас, оставив на подушке вместе с прощальной запиской безопасную бритву «жиллет» раннего типа, большую новинку, которую мы ему подарили на именины. Со мною редко бывает, чтобы я не знал, какое воспоминание мое собственное, а какое только что пропущено через меня, и получено из вторых рук; тут я колеблюсь: многими годами позже моя мать смеясь рассказывала о пламенной любви, которую она нечаянно зажгла.

Как будто припоминаю полуотворенную дверь в гостиную и там, посредине зеленого ковра, нашего А. на коленях, чуть ли не ломающего руки перед моей оцепеневшей от удивления матерью; однако то обстоятельство, что я вижу сквозь жестикуляцию бедняги взмах его романтического плаща, наводит меня на мысль, не пересадил ли я лесной танец в солнечную комнату нашей биаррицкой квартиры, под окнами которой, в отделенном канатом углу площади, местный воздухоплаватель Sigismond Lejoyeux занимался надуванием огромного желтого шара.

Следующим нашим гувернером — зимой 1907-го года — был украинец, симпатичный человек с темными усами и светлой улыбкой. Он тоже умел показывать штуки — например, чудный фокус с исчезновением монеты. Монета, положенная на лист бумаги, накрывается стаканом и мгновенно исчезает. Возьмите обыкновенный стакан. Аккуратно заклейте отверстие кружком клетчатой или линованной бумаги, вырезанной по его

периферии.

На такую же бумагу посреди стола положите двугривенный. Быстрым движением накройте монету приготовленным стаканом. При этом смотрите, чтобы клетки или полоски на бумажном листе и на стакане совпали. Иначе не будет иллюзии исчезновения.

Совпадение узоров есть одно из чудес природы. Чудеса природы рано занимали меня. В один из его выходных дней, с бедным фокусником случился на улице сердечный припадок, и, найдя его лежащим на тротуаре, неразборчивая полиция посадила его в холодную с десятком пьяниц.

Следующая картинка кажется вставленной вверх ногами. На ней виден третий гувернер, стоящий на голове. Это был могучий латыш, который умел ходить на руках, поднимал высоко на воздух много мебели, играл огромными черными гирями и мог в одну секунду наполнить обыкновенную комнату запахом целой роты солдат. Ему иногда приходилось наказывать меня за ту или другую шалость (помню, например, как однажды, когда он спускался по лестнице, я с верхней площадки ловко уронил каменный шарик прямо на его привлекательную, необыкновенно твердую на вид и на звук голову); выбирая наказание, он пользовался не совсем обычным педагогическим приемом: весело предлагал, что мы оба натянем боевые перчатки и попрактикуемся в боксе, после чего он ужасными, обжигающими и потрясающими ударами в лицо, похохатывая, парировал мой детский натиск и причинял мне невозможную боль. Хотя в общем я предпочитал эти неравные бои системе нашей бедной мадемуазель, для которой до судороги в кисти приходилось раз двести подряд переписывать штрафную фразу, вроде Qui aime bien, chвtie bien (Кто крепко любит, тот строго карает (франц.)), я не очень горевал, когда остроумный атлет отбыл после недолгого, но бурного пребывания.

Затем был поляк. Он был студент медик, из родовитой семьи, щеголь и красавец собой, с влажными карими глазами и густыми гладкими волосами, — несколько похожий на знаменитого в те годы комика Макса Линдера, в честь которого я тут и назову его. Макс продержался с 1908-го по 1910-ый год. Помню, какое восхищение он вызывал во мне зимним утром в Петербурге, когда внезапное площадное волнение перебило течение нашей прогулки: казаки с глупыми и свирепыми лицами, размахивая чем-то, вероятно нагайками, напирали на толпу каких-то людей, сыпались шапки, чернелась на снегу галоша, и была минута, когда казалось, один из конных дураков направляется на нас. Вдруг, с ребяческим наслаждением, я заметил, что Макс

наполовину вытащил из кармана револьвер, но всадник повернул в переулок. Менее интересным был другой перерыв в одной из наших прогулок, когда он нас повел знакомить со своим братом, изможденным ксендзом, чьи тонкие руки рассеянно витали над нашими православными вихрами, пока он с Максом обсуждал по-польски не то политические, не то семейные дела. Макс носил шелковые сиреневые носки и кажется был атеистом. Летом в Выре он состязался с моим отцом в стрельбе, решетя пулями ржавую вывеску «Охота воспрещается», прибитую прадедом Рукавишниковым к стволу вековой ели. Предприимчивый, ловкий и крепкий Макс участвовал во всех наших играх, и потому мы удивлялись, когда в середине лета 1909-го года он что-то стал ссылаться на мигрень и общую lassitude (Утомление (франц.)), отказываясь кикать со мною футбольный мяч или идти купаться на реку.

Гораздо позже я узнал, что летом у него завязался роман с замужней дамой, жившей за несколько верст от нас; он вдруг оказался страстным собачником: то и дело в течение дня улучал минуту, чтобы посетить псарню, где кормил и улещивал сторожевых догов. Их спускали с цепи при наступлении ночи, и ему приходилось встречаться с ними под покровом темноты, когда он пробирался из дома в жасминовую и спирейную заросль, где его земляк, камердинер моего отца, припрятывал для него «дорожный» велосипед «Дукс» со всеми аксессуарами, — карбидом для фонаря, звонками двух сортов, добавочным тормозом, насосом, треугольным кожаным футляром с инструментами и даже зажимчиками для призрачно-белых Максовых панталон. Обочинами проселочных дорог и горбатыми от поперечных корней лесными тропами отважный и пылкий Макс катил к далекому месту свидания — охотничьему павильону — по славной традиции светских измен. Его встречали на обратном пути студеные туманы трезвого утра и четверка забывчивых псов, а уже около восьми мучительно начинался новый воспитательский день. Полагаю, что Макс не без некоторого облегчения покинул место своих еженощных подвигов, чтобы сопутствовать нам в нашей второй поездке в Биарриц. Там он взял двухдневный отпуск, чтобы совершить покаянное путешествие в священный Лурд, куда. поехал впрочем в обществе смазливой и бойкой молодой ирландки, состоявшей в гувернантках при моей маленькой пляжной подруге Колетт. Он перешел от нас на службу в одну из петербургских больниц, а позднее был, по слухам, известным врачом в Польше.

На смену католику явился лютеранин, притом еврейского происхождения. Назову его Ленским. Он с нами ездил в

Германию в 1910-ом году, после чего я поступил в Тенишевское Училище, а брат-в Первую Гимназию, и Ленский оставался помогать нам с уроками до 1913-го года. Он родился в бедной семье и охотно вспоминал, как между окончанием гимназии на юге и поступлением в Петербургский Университет зарабатывал на жизнь тем, что украшал морскими видами плоские, отшлифованные волнами, булыжники и продавал их как пресс-папье. Приехал он к нам с большим портретом петербургского педагога Гуревича, которого он весьма искусно, по волоску, нарисовал карандашом, но который почему-то отказался портрет приобрести, и портрет остался у нас висеть где-то в коридоре. «Я, конечно, импрессионист», — небрежно замечал Ленский, рассказывая это.

Меня, как начинающего художника, Ленский сразу поразил контрастом между довольно в общем стройным передом фигуры и толстоватой изнанкой. У него было розовое овальное лицо, миниатюрная рыжеватая бородка, точеный нос, ущемленный голым пенсне, светлые и тоже какие-то голые глаза, тонкие малиновые губы и бледно-голубая бритая голова со стыдливо пухлыми складками кожи на затылке. Он не сразу привык ко мне, и с огорчением я вспоминаю, как, вырвав у меня из рук «отвратительную карикатуру», он шагал, удаляясь, через комнаты вырского дома по направлению к веранде (являя мне именно то карпообразное очертание бокастого тела, которое я только что так верно нарисовал) и, бросив мою картинку на стол перед моей матерью, восклицал: «Вот последнее произведение вашего дегенеративного сына!» Внедрение новых наставников всегда сопровождалось у нас скандалами, но в данном случае мы с братом очень скоро смирились, открыв три основных свойства в Ленском: он был превосходный учитель; он был лишен чувства юмора; и в тонкое отличие от всех своих предшественников, он нуждался в особой нашей защите. В 1910-м году мы как-то с ним шли по аллее в Киссингене, а впереди шли два раввина, жарко разговаривая на жаргоне, — и вдруг Ленский, с какой-то судорожной и жесткой торжественностью, озадачившей нас, проговорил: «Вслушайтесь, дети, они произносят имя вашего отца!» У нас в доме Ленский чувствовал себя в «нравственной безопасности» (как он выражался), только пока один из наших родителей присутствовал за обеденным столом. Но когда они были в отъезде, это чувство безопасности могло быть мгновенно нарушено какой-нибудь выходкой со стороны любой из наших родственниц или случайного гостя. Для теток моих выступления отца против погромов и других мерзостей российской и мировой жизни были прихотью русского дворянина, забывшего своего

царя, и я не раз подслушивал их речи насчет происхождения Ленского, происков кагала и попустительства моей матери и, бывало, я грубил им за это, и, потрясенный собственной грубостью, рыдал в клозете. Отрадная чистота моих чувств, если отчасти и была внушена слепым обожанием, с которым я относился к родителям, зато подтверждается тем, что Ленского я совершенно не любил. Было нечто крайне раздражительное в его горловом голосе, педантичной правильности слога, изысканной аккуратности, манере постоянно подравнивать свои мягкие ногти какой-то особой машиночкой. Он жаловался моей матери, что мы с братом-иностранцы, барчуки, снобы, и патологически равнодушны к Гончарову, Григоровичу, Мамину-Сибиряку, которыми нормальные мальчики будто бы зачитываются. Добившись разрешения навязать нашему детскому быту более демократический строй, он в Берлине меня с братом перевел из Адлона в мрачный, буржуазный пансион Модерн на унылой Приватштрассе (притоке Потсдамской улицы), а изящные, устланные бобриком, лаково-зеркальные, полные воспоминаний детства, страстно-любимые мной Норд-Экспресс и Ориент-Экспресс были заменены гнусно-грязными полами и сигарной вонью укачливых и громких шнельцугов или вялым уютом русских казенных вагонов, с какими-то половыми вместо кондукторов. В заграничных городах, как впрочем и в Петербурге, он замирал перед утилитарными витринами, нисколько не занимавшими нас. Собираясь жениться и не имея ничего, кроме жалованья, он с неимоверно тщательным расчетом старался перебороть против него настроенную судьбу, когда планировал свой будущий обиход. Время от времени необдуманные порывы нарушали его бюджет. В этом педанте жил и мечтатель, и авантюрист, и антрепренер, и старомодный наивный идеалист. Заметив на Фридрихштрассе какую-то потаскуху, пожирающую глазами шляпу с пунцовым плерезом в окне модного магазина, он эту шляпу тут же ей купил — и долго не мог отделаться от потрясенной немки. В собственных приобретениях он действовал более осмотрительно. Сергей и я терпеливо выслушивали его подробные мечтания, когда он, бывало, расписывал каждый уголок в комфортабельной, хоть и скромной, квартире, которую он меблировал в уме для жены и себя. Однажды его блуждающая мечта сосредоточилась на дорогой люстре в магазине Александра на Невском, торговавшем безвкуснейшими предметами буржуазной роскоши. Не желая, чтобы приказчик догадался, какой именно товар он обхаживает, Ленский сказал нам, что возьмет нас посмотреть на люстру только, если мы обещаем воздержаться от восклицаний восторга и слишком красноречивых

взглядов. Со всевозможными предосторожностями и нарочито восхищаясь какой-то посторонней этажеркой, он подвел нас под ужасающего бронзового осьминога с гранатовыми глазами и только тогда мурлычащим вздохом дал нам понять, что это и есть облюбованная им вещь, С такими же предосторожностями, понижая голос, дабы не разбудить враждебного рока, он сказал, что познакомит нас в Берлине, куда выписал ее, со своей невестой.

Мы увидели небольшую, изящную барышню в черном, с глазами газели под черной вуалькой, с букетом фиалок, пришпиленным к груди. Это было, помнится, перед аптекой на углу Потсдамер и Приватштрассе, и тихим голосом Ленский просил не сообщать нашим родителям о присутствии Мирры Григорьевны в Берлине, и человечек на механической рекламе в витрине без конца повторял у себя на картонной щеке по розовой дорожке, расчищенной от нарисованного мыла, движение бритья, и с грохотом проносились трамваи, и уже шел снег.

3

Мы теперь подходим вплотную к теме этой главы. Зимой 1911-го или 12-го года Ленскому взбрела в голову дикая фантазия: нанять (у нуждающегося приятеля, Бориса Наумовича) волшебный фонарь («с длиннофокусным конденсатором», повторяет, как попугай, Мнемозина) и раза два в месяц по воскресеньям устраивать у нас на Морской сеансы общеобразовательного характера, обильно уснащенные чтением отборных текстов, перед группой мальчиков и девочек. Он считал, что демонстрация этих картин не только будет иметь воспитательное значение для всей группы, но в частности научит брата и меня лучше уживаться с другими детьми. Преследуя эту страшную и невоплотимую мечту, он собрал вокруг нас (двух замерших зайчиков — тут я брату был брат) рекрутов разных разрядов: наших кузенов и кузин; малоинтересных сверстников, с которыми мы встречались на детских балах и светских елках; школьных наших товарищей; детей наших слуг. Обслуживал аппарат таинственный Борис Наумович, очень грустный на вид человек, которого Ленский звучно звал «коллега». Никогда не забуду первого «сеанса». Послушник, сбежав из горного монастыря, бродит в рясе по кавказским скалам и осыпям. Как это обычно бывает у Лермонтова, в поэме сочетаются невыносимые прозаизмы с прелестнейшими словесными миражами. В ней семьсот с лишним строк, и это обилие стихов было распределено Ленским между всего лишь четырьмя стеклянными картинками (неловким движением я разбил пятую перед началом представления). По соображениям пожарного порядка, выбрана была довольно большая комната, в углу которой находились ванна и котел с водой. Как театральная зала, она оказалась мала, и стулья пришлось тесно сдвинуть. Слева от меня сидела десятилетняя непоседа с длинными бледно-золотистыми волосами и нежным цветом лица, напоминающим розовый оттенок раковин; она сидела так близко, что я чувствовал верхнюю косточку ее бедра и при каждом ее движении-она то теребила медальон, то продевала ладонь между затылком и дымом душистых волос, то со стуком соединяла коленки под шуршащим шелком желтого чехла, просвечивающим сквозь кружево платья, и это возбуждало во мне ощущения, на которые Ленский не рассчитывал. Впрочем, она скоро пересела. Справа от меня находился сын отцовского камердинера, совершенно неподвижный мальчик в матроске; он необыкновенно походил на Наследника, и по необыкновенному совпадению, страдал тем же

трагическим недугом, гемофилией, так что по несколько раз в год синяя придворная карета привозила к нашему подъезду знаменитого доктора и подолгу ждала под косым снегом, который все шел да шел, и если зацепиться взглядом за снежинку, спускающуюся мимо окна, можно было разглядеть ее грубоватую, неправильную форму и даже колыхание при тихом полете.

Потух свет. Ленский тоном бытовика-резонера приступил к чтению:

> Немного лет тому назад,
> Там, где сливайся шумят,
> Обнявшись, будто две сестры,
> Струи Арагвы и Куры,
> Был монастырь.

Монастырь послушно появился на простыне и застыл там в красочном, но тупом оцепенении (хоть бы один стриж пронесся над ним!) на протяжении двухсот строк, после чего был заменен приблизительной грузинкой, обремененной этнографическим сосудом. Всякий раз как невидимый коллега убирал-без спеха-пластинку из прожектора, картина соскальзывала с экрана очень даже прытко, как если бы общее увлечение влияло не только на изображение гор и грузин, но и на скорость их скольжения при изъятии. Этим ограничивалось волшебство фонаря. Деликатным движением палочки Ленский обращал внимание недоброжелательных зрителей на чрезвычайно вульгарные горы, даже не принадлежавшие системе пленительных лермонтовских высот, которые …в час утренней зари Курились как алтари, и когда молодой монах стал рассказывать другому затворнику постарше о своей борьбе с барсом, кто-то в публике иронически зарычал. Чем дальше трусил голос по мужским рифмам монотонного ямба, тем яснее становилось, что некоторая часть аудитории втихомолку глумится над Ленским и что мне предстоит услышать потом немало насмешливых отзывов по поводу всей затеи. Мне было совестно и ужасно жаль героического комментатора — его упорного бубнения, очерка острого профиля и толстого затылка, иногда вторгавшегося в область озаренного полотна, и особенно его нервной палочки, на которую, при неосторожном ее приближении к экрану, съезжали световые краски, притрагиваясь к ее кончику с холодной игривостью кошачьей лапки. К концу сеанса скука разрослась донельзя; нерасторопный Борис Наумович долго искал последнюю пластинку, смешав ее с «просмотренными», и пока Ленский терпеливо ждал в темноте, некоторые из мальчиков

стали довольно святотатственно отбрасывать на пустой светлый экран черные тени поднятых рук, а спустя еще несколько секунд один неприятный озорник (неужели это был я — невзирая на всю чувствительность?) ухитрился показать силуэт ноги, что, конечно, сразу вызвало шумное подражание. Но вот-пластинка нашлась, и вспыхнула на полотне, — и неожиданно мне было пять лет, а не двенадцать, ибо случайная комбинация красок мне напомнила, как во время одной из ранних заграничных поездок экспресс, словно скрывшись от горной грозы, углубился в Сен-Готардский туннель, а когда с облегченной переменой шума вышел оттуда: -

О, как сквозили в вышине
В зелено-розовом огне,
Где радуга задела ель,
Скала и на скале газель!

4

За этим представлением последовали другие, еще более ужасные. Меня томили, между прочим, смутные отзвуки некоторых семейных рассказов, относящихся к дедовским временам. В середине восьмидесятых годов Иван Васильевич Рукавишников, не найдя для сыновей школы по своему вкусу, нанял превосходных преподавателей и собрал с десяток мальчиков, которым он предложил несколько лет бесплатного обучения в своем доме на Адмиралтейской набережной. Предприятие не имело большого успеха. Не всегда бывали сговорчивы те знакомые его, чьи сыновья подходили по его мнению в товарищи его собственным, Василью (неврастенику, которого он тиранил) и Владимиру (даровитому отроку, любимцу семьи, которому предстояло в шестнадцать лет умереть от чахотки), а некоторые из тех мальчиков, которых ему удалось набрать (подчас даже платя деньги небогатым родителям), вскоре оказались питомцами неприемлемыми. С безотчетным отвращением я представлял себе Ивана Васильевича упрямо обследующим столичные гимназии и своими странными невеселыми глазами, столь знакомыми мне по фотографиям, выискивающим мальчиков, наиболее привлекательных по наружности среди первых учеников. По существу рукавишниковские причуды ничем не походили на скромную затею Ленского, но случайная мысленная ассоциация побудила меня воспрепятствовать тому, чтобы Ленский продолжал являться на людях в глупом и навязчивом виде, и, после еще трех представлений («Медный всадник», «Дон Кихот» и «Африка-страна чудес»), мать сдалась на мои мольбы, и, заработав свои сто или двести рублей, товарищ нашего добряка исчез со своим громоздким аппаратом навеки.

Однако я помню не только убожество, аляповатость, желатиновую несъедобность в зрительном плане этих картин на мокром полотне экрана (предполагалось, что влага делает их глаже); я помню и то, как прелестны были самые пластинки, вне всякой мысли о фонаре и экране, — если просто поднимешь двумя пальцами такое драгоценное стеклянное чудо на свет, чтобы в частном порядке, и даже не совсем законно, в таинственной оптической тишине, насладиться прозрачной миниатюрой, карманным раем, удивительно ладными мирками, проникнутыми тихим светом чистейших красок. Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливую и молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебной шахты-лабораторного

микроскопа. Арарат на стеклянной пластинке уменьшением своим разжигал фантазию; орган насекомого под микроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думается, что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства.

5

Ленский был человек разносторонний, сведущий, умеющий разъяснить решительно все, что касалось школьных уроков; тем более нас поражали его постоянные университетские неудачи.

Причиной их была вероятно совершенная его бездарность в области финансовой и государственной, то есть именно в той области, которую он избрал для изучения. Помню, в какой лихорадке он находился накануне одного из самых важных экзаменов. Я беспокоился не меньше его, и в порыве деятельного сострадания не мог удержаться от соблазна подслушать у двери, как по его же просьбе мой отец проверяет в виде репетиции к экзамену его знание «Принципов политической экономии» Charles Gide. Листая книгу, отец спрашивал, например: в чем заключается разница между банкнотами и бумажными деньгами? — и Ленский как-то ужасно предприимчиво и даже радостно прочищал горло, а затем погружался в полное молчание, как будто его не было. После нескольких таких вопросов прекратилось и это его бойкое покашливание, и паузы нарушались только легким постукиванием отцовских ногтей по столу, и только раз с отчаянием и надеждой страдалец воскликнул: «Владимир Дмитриевич, я протестую. Этого вопроса в книге нет». Но вопрос в книге был, И наконец отец закрыл ее почти беззвучно и проговорил: «Голубчик, вы не знаете ничего». «Разрешите мне быть другого мнения», — ответил Ленский с достоинством. Сидя очень прямо, он выехал на нашем «Бенце» в университет, оставался там долго, вернулся в извозчичьих санях, весь сгорбленный, среди невероятной снежной бури, и в немом отчаянии поднялся к себе.

В конце своего пребывания у нас он женился и уехал в свадебное путешествие на Кавказ, в лермонтовские места, после чего вернулся к нам на одну зиму. В его отсутствие, летом 1913-го года. Monsieur Noyer, коренастый швейцарец с пушистыми усами, читал нам «Cyrano de Bergerac», виртуозно меняя голос сообразно с персонажами. Когда он первый раз поехал с нами верхом, его лошадь споткнулась, и он через ее голову упал в куст, как на старомодной карикатуре. Сервируя в теннисе, он считал нужным стоять на самой линии, широко расставив толстые ноги в смятых парусиновых штанах, затем как-то приседал и ударял по подброшенному мячу со страшной силой, но ничего не получалось, — мяч попадал либо в сетку, либо в некошеное поле, за решетчатой оградой, сквозь которую упорным полетом, — но об этих белых бабочках я уже писал.

Весной 1914-го года, когда Ленский нас окончательно покинул, к нам поступил тот Волгин, которого я уже упоминал, сын обедневшего симбирского помещика, молодой человек обворожительной наружности, с задушевными интонациями и прекрасными манерами, но с душой пошляка и мерзавца. К этому времени я уже не нуждался в каком-либо надзоре, учебной же помощи он не мог мне оказать никакой, ибо был безнадежный неуч (проиграл мне, помню, великолепный кастет, побившись со мной об заклад, что письмо Татьяны начинается так: «У видя почерк мой, вы верно удивитесь»), и все, что от него я получил (кроме кастета), были рассказы, которыми я сначала заслушивался, о его похождениях с женщинами-рассказы, вскоре сменившиеся неприличными сплетнями о нашей семье: он их добывал у одной моложавой нашей родственницы, на которой впоследствии женился.

При Советах этот бархатный Волгин был комиссаром — и вскоре устроился так, чтобы сбыть жену в Соловки. Не знаю, чем кончилась его карьера.

Но Ленского я не совсем потерял на вида. Езде когда он был с нами, он основал на где-то занятые деньги довольно фантастическое предприятие для скупки и эксплуатации разных необыкновенных патентов. Эти изобретения он не то чтобы выдавал за свои, но усыновлял с такой нежностью, что отцовство его бросалось всем в глаза, хотя было основано на чувствах, а не на фактах. Однажды он с гордостью пригласил нас испробовать на нашем автомобиле «изобретенный» им новый тип мостовой, состоявшей из каких-то переплетенных металлических полосок; мы попробовали-и лопнула шина. В Первую мировую войну он поставил армии пробную партию лошадиного корма в виде плоских серых галет; он всегда носил с собой образчик, небрежно грыз его и предлагал грызть друзьям. От этих галет многие лошади тяжело болели. Затем, в 1918-ом году, когда мы уже были в Крыму, он нам писал, предлагая щедрую денежную помощь. Не знаю, успел ли бы он ее оказать, ибо какое-то наследство, им полученное, он вложил в увеселительный парк на черноморском побережье, со скетинг-рингом, музыкой, каскадами, гирляндами красных и зеленых лампочек, но тут накатились большевики и потушили иллюминацию, а Ленский бежал за границу и, в двадцатых годах, по слухам, жил в большой бедности на Ривьере, зарабатывая на жизнь тем, что расписывал морскими видами белые булыжники. Не знаю, что было с ним потом. Несмотря на некоторые свои странности, это был в сущности очень чистый, порядочный человек, тяжеловесные «диктанты» которого я до сих пор помню:

«Что за ложь, что в театре нет лож! Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей».

6

Когда воображаю чередование этих учителей, меня не столько поражают те забавные перебои, которые они вносили в мою молодую жизнь, сколько устойчивость и гармоническая полнота этой жизни.

Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение Мнемозины: мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей черновой партитуре былого. И мне нравится представить себе, при громком ликующем разрешении собранных звуков, сначала какую-то солнечную пятнистость, а затем, в проясняющемся фокусе, праздничный стол, накрытый в аллее. Там, в самом устье ее, у песчаной площадки вырской усадьбы, пили шоколад в дни летних именин и рождений. На скатерти та же игра светотени, как и на лицах, под движущейся легендарной листвой лип, дубов и кленов, одновременно увеличенных до живописных размеров и уменьшенных до вместимости одного сердца, и управляет всем праздником дух вечного возвращения, который побуждает меня подбираться к этому столу (мы, призраки, так осторожны!) не со стороны дома, откуда сошлись к нему остальные, а извне, из глубины парка, точно мечта, для того чтоб иметь право вернуться, должна подойти босиком, беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения. Сквозь трепетную призму я различаю лица домочадцев и родственников, двигаются беззвучные уста, беззаботно произнося забытые речи.

Мреет пар над шоколадом, синим блеском отливают тарталетки с черничным вареньем. Крылатое семя спускается как маленький геликоптер с дерева на скатерть, и через скатерть легла, бирюзовыми жилками внутренней стороны к переливчатому солнцу, голая рука девочки, лениво вытянувшаяся с раскрытой ладонью в ожидании чего-то — быть может, щипцов для орехов. На том месте, где сидит очередной гувернер, вижу лишь текучий, неясный, переменный образ, пульсирующий вместе с меняющимися тенями листвы. Вглядываюсь еще, и краски находят себе очертания, и очертания приходят в движение: точно по включении волшебного тока, врываются звуки: голоса, говорящие вместе, треск расколотого ореха, полушаг небрежно переданных щипцов.

Шумят на вечном вырском ветру старые деревья, громко поют птицы, а из-за реки доносится нестройный и восторженный гам купающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущих

ований.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что получаемое мною домашнее образование может с пользой пополняться школой. В январе 1911-го года я поступил в третий семестр Тенишевского Училища: семестров было всего шестнадцать, так что третий соответствовал первой половине второго класса гимназии.

Учебный год длился с начала сентября до первой трети мая, с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантская елка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зелеными облаками расписанного, потолка в одной из нижних зал нашего дома, или же сваренное вкрутую яйцо опускалось с овальным звуком в дымящуюся фиолетовую хлябь.

Когда камердинер, Иван Первый (затем забранный в солдаты), или Иван Второй (додержавшийся до тех времен, когда я его посылал с романтическими поручениями), будил меня, смуглая мгла еще стояла за окнами, жужжало в ушах, поташнивало, и электрический свет в спальне резал глаза мрачным йодистым блеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовить скрытый накануне от репетитора урок (о, счастливое время, когда я мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько же минут!), выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом утра мои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса и фехтованья с удивительно гуттаперчевым французом Лустало. Он продолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и биться на рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой на нижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто, через зеленую залу (где мандаринами и бором пахло так долго после Рождества), по направлению к «библиотечной», откуда доносились топот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотно сложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом, стеганом тренировочном костюме и черной выпуклой решетчатой маске: он необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед, то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворного его противника-"Battez!", «Rompez!» — смешивались с лязгом рапир. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица, чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятно совмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовых перчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стояли там и сям вдоль книгами выложенных стен. В одном конце поблескивали штанги

выписанного из Англии пунчинг-бола, — эти четыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, с которой висел большой, грушевидный, туго надутый кожаный мешок для боксовых упражнений; при известной сноровке, можно было так по нему бить, чтобы производить пулеметное «ра-та-та-та» об доску, и однажды в 1917-ом году этот подозрительный звук привлек через сплошное окно ватагу до зубов вооруженных уличных бойцов, тут же удостоверившихся, впрочем, что я не урядник в засаде. Когда, в ноябре этого пулеметного года (которым по-видимому кончилась навсегда Россия, как в свое время кончились Афины или Рим), мы покинули Петербург, отцовская библиотека распалась, кое-что ушло на папиросную завертку, а некоторые довольно странные остаточки и бездомные тени появлялись-как на спиритическом сеансе, — за границей. Так, в двадцатых годах, найденыш с нашим экслибрисом подвернулся мне на уличном лотке в Берлине, причем довольно кстати это оказалось «Войной миров» Уэллса. Прошли еще годы, — и вот держу в руках обнаруженный в Нью-Иоркской Публичной Библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли плотные и полнокровные на дубовых полках, и застенчивая старуха-библиотекарша в пенсне работала над картотекой в неприметном углу. Он снова надевал маску, и возобновлялись топ, выпады и стрепет. Я же спешил обратно тем же путем, что пришел, словно репетируя сегодняшнее посещение.

После густого тепла вестибюля, где, за тяжелой решеткой, которую одной рукой мог поднять здоровенный сынок швейцара, трещали в камине березовые дрова, наружный мороз ледяной рукой сжимал легкие. Прежде всего я смотрел, который из двух автомобилей, «Бенц» или «Уолзлей», подан, чтобы мчать меня в школу. Первый из них состоял под управлением кроткого бледнолицего шофера Волкова; это был мышиного цвета ландолет. (А. Ф. Керенский просил его впоследствии для бегства из Зимнего Дворца, но отец объяснил, что машина и слаба, и стара и едва ли годится для исторических поездок — не то что дивный рыдван пращурки, одолженный Людовику для бегства в Варенн). По сравнению с бесшумной электрической каретой, ему предшествовавшей, очерк этого «Бенца» поражал своей динамичностью, но, в свою очередь, стал казаться старомодным и косно квадратным, как только новый длинный черный английский лимузин ролс-ройсовых кровей стал делить с ним гараж во дворе дома.

Начать день поездкой в новой машине значило начать его хорошо. Пирогов, второй шофер, был довольно независимый

толстячок, покинувший царскую службу оттого, что не захотел быть ответственным за какой-то не нравившийся ему мотор, К рыжеватой комплекции пухлого Пирогова очень шла лисья шуба, надетая поверх его вельветиновой формы, и бутылообразные оранжевые краги. Если задержка в уличном движении заставляла этого коротыша неожиданно затормозить — упруго упереться в педали, — его затылок, отделенный от меня стеклом перегородки, наливался кровью, что впрочем случалось и тогда, когда, пытаясь ему что-нибудь передать при помощи не очень разговорчивого рупора, я сжимал писклявую, бледно-серой материей и сеткой обтянутую грушу, сообщавшуюся с бледно-серым шнуром, ведущим к нему. Этой драгоценной городской машине он откровенно предпочитал красный, с красными кожаными сиденьями,

«Торпедо-Опель», которым мы пользовались в деревне; на нем он возил нас по Варшавскому шоссе, открыв глушитель, со скоростью семидесяти километров в час, что тогда казалось упоительный, и как гремел ветер, как пахли прибитая дождем пыль и темная зелень полей, — а теперь мой сын, гарвардский студент, небрежно делает столько же в полчаса, запросто катя из Бостона в Альберту, Калифорнию или Мексику. Когда в 1913-ом году Пирогова призвали, его заменил корявый, кривоногий, черный, с каким-то диким выражением желтых глаз, Цыганов, бывший гонщик, участвовавший в международных состязаниях и сломавший себе три ребра в Бельгии. Летом или осенью 1917— го года он решил, несмотря на энергичные протесты отца, спасти страстно полюбившийся ему «Уолзлей» от возможной конфискации, для чего разобрал его на части, а части попрятал в различные, одному ему известные места, и вероятно был бы привлечен моим отцом к суду, если бы не помешали более важные события. Не знаю почему, но на петербургских торцах снег и гололедица не мешали так езде, как, скажем, в асфальтированном Бостоне сорок лет спустя, — на параллели Неаполя и при гораздо более совершенных машинах. Не помню, чтобы когда-либо погода помешала мне доехать до училища всего в несколько минут. Наш розовый гранитный особняк был № 47 по Большой Морской. За ним следовал дом Огинского (№ 45). Затем шли итальянское посольство (№ 43), немецкое посольство (№ 41) и обширная Мариинская площадь, после которой номера домов продолжали понижаться по направлению к Дворцовой Площади. Слева от Мариинской площади, между ней и великолепным, но приедающимся Исаакием, был сквер; там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста, павшего при неряшливой до легкомыслия перепаковке смертоносного свертка

в снятой им комнате недалеко от площади. Те же самые деревья (филигранный серебряный узор над горкой, с которой мы громко скатывались, ничком на плоских санках, в детстве) были свидетелями того, как конные жандармы, укрощавшие Первую Революцию, сбивали удалыми выстрелами, точно хлопая по воробьям, ребятишек, вскарабкавшихся на ветки.

Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилия обгонять самых быстрых и храпливых коней, — какого-нибудь закутанного в шинель гвардейца в легких санях, запряженных парой вореных под синей сеткой. Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием Караванная, навсегда связанной у меня с магазином игрушек Пето и с цирком Чинизелли, из круглой кремовой стены которого выпрастывались каменные лошадиные головы. Наконец, за каналом, мы сворачивали на Моховую и там останавливались у ворот училища. Перепрыгнув через подворотню, я бежал по туннельному проходу и пересекал широкий двор к дверям школы.

3

Став одним из лидеров Конституционно-демократической партии, мой отец тем самым презрительно отверг все те чины, которые так обильно шли его предкам. На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира.

Училище, в которое он меня определил, было подчеркнуто передовое. Как мне пришлось более подробно объяснить в американском издании этой книги, классовые и религиозные различия в Тенишевском Училище отсутствовали, ученики формы не носили, в старших семестрах преподавались такие штуки как законоведение, и по мере сил поощрялся всякий спорт. За вычетом этих особенностей, Тенишевское не отличалось ничем от всех прочих школ мира. Как во всех школах мира (да будет мне позволено подделаться тут под толстовский дидактический говорок), ученики терпели некоторых учителей, а других ненавидели. Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая; все свои силы для домашних отрад, — своих игр, своих увлечений и причуд, своих бабочек, своих любимых книг, — и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души. Меня обвиняли в нежелании «приобщиться. к среде», в надменном щегольстве французскими и английскими выражениями (которые попадали в мои русские сочинения только потому, что я валял первое, что приходило на язык), в категорическом отказе пользоваться отвратительно мокрым полотенцем и общим розовым мылом в умывальной, в том, что я брезговал захватанным серым хлебом и чуждым мне чаем, и в том, что при драках я пользовался по-английски наружными костяшками кулака, а не нижней его стороной. Один из наиболее общественно настроенных школьных наставников, плохо разбиравшийся в иностранных играх, хотя весьма одобрявший их группово-социальное значение, пристал ко мне однажды с вопросом, почему, играя в футбол, я (страстно ушедший в голкиперство, как иной уходит в суровое подвижничество) все стою где-то «на задворках», а не бегаю с другими «ребятами». Особой причиной раздражения было еще то, что шофер «в ливрее» привозит «барчука» на автомобиле, между

тем как большинство хороших тенишевцев пользуется трамваем.

Наибольшее негодование возбуждало то, что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный В. В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов), оттого что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось «правление» и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы. Напряженное положение, создавшееся вследствие моего сопротивления этой скуке, этим бесплатным добавлениям к школьному дню, усугублялось тем, что мои общественно настроенные наставники — несомненно прекраснейшие благонамеренные люди — с каким-то изуверским упорством ставили мне в пример деятельность моего отца.

Эту деятельность я воспринимал, как часто бывает с детьми знаменитых отцов, сквозь привычные семейные призмы, недоступные посторонним, причем в отношении моем к отцу было много разных оттенков, — безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что вот, независимо от его занятий (пишет ли он передовицу-звезду для «Речи», работает ли по своей специальности криминалиста, выступает ли как политический оратор, участвует ли в своих бесконечных собраниях), мы с ним всегда в заговоре, и посреди любого из этих внешне чуждых м" е занятий он может мне подать-да и подавал-тайный знак своей принадлежности к богатейшему «детскому» миру, где я с ним связан был тем же таинственным ровесничеством, каким тогда был связан с матерью, или как сегодня связан с сыном.

Заседания часто происходили у нас в доме, и о том, что такое заседание должно было состояться, всегда говорило доносившееся из швейцарской жужжанье особого снаряда, несколько похожего на зингеровскую машину, с колесом, которое за ручку вращал швейцар Устин, занимаясь бесконечной очинкой «комитетских» карандашей. Этот не раз мной упомянутый Устин казался — как столь многие члены нашей многочисленной челяди — примерным старым слугой, балагуром и добряком; женат он был на толстой эстонке, которая с пресмешным отрывистым шипом звала его из подвальной квартирки («Устя! Устя!»), откуда тепло пахло курицей. Но по-видимому постоянная нудная работа над этими красивыми карандашами незаметным образом повлияла на его нрав, до того его внутренне озлобив, что

он, как впоследствии выяснилось, поступил на службу в тайную полицию и состоял в прибыльном контакте с безобидными, но надоедливыми шпиками, всегда вертевшимися в соседстве нашего дома.

Около восьми вечера в распоряжение Устина поступали многочисленные галоши и шубы. Похожий несколько на Теодора Рузвельта, но в более розовых тонах, появлялся Милюков в своем целлулоидовом воротничке, И. В. Гессен, потирая руки и слегка наклонив набок умную лысую голову, вглядывался сквозь очки в присутствующих. А. И, Каминка, с иссиня-черными зачесанными волосами и выражением предупредительного испуга в подвижных, круглых, карих глазах, уже что-то жарко доказывал однопартийцу.

Постепенно переходили в комитетскую, рядом с библиотекой. Там, на темно-красном сукне длинного стола, были разложены стройные карандаши, блестели стаканы, толпились на полках переплетенные журналы, и стучали маятником высокие часы с вестминстерскими курантами. За этим помещением были сложные лабиринты, сообщавшиеся с какими-то чуланами и другими дебрями, куда бывало надолго уходил страдавший животом Лустало и где, во время игр с двоюродным братом, Юриком Рауш, я добирался до Техаса, — и там однажды, по случаю какого-то особого заседания, полиция поместила удивительно нерасторопного агента, толстого, тихого, подслеповатого господина, в общем довольно приличного вида, который, будучи обнаружен, неторопливо и тяжело опустился На колени перед старой нашей библиотекаршей, Людмилой Абрамовной Гринберг. Интересно, как бы я мог делиться всем этим с моими школьными товарищами и учителями.

4

Реакционная печать беспрестанно нападала на кадетов, и моя мать, с беспристрастностью ученого коллекционера, собирала в альбом образцы бесталанного русского карикатурного искусства (прямого исчадья немецкого). На них мой отец изображался с подчеркнуто «барской» физиономией, с подстриженными «по-английски» усами, с бобриком, переходившим в плешь, с полными щеками, на одной из которых была родинка, и с «набоковскими» (в генетическом смысле) бровями, решительно идущими вверх от переносицы римского носа, но теряющими на полпути всякий след растительности. Помню одну карикатуру, на которой от него и от многозубого котоусого Милюкова благодарное Мировое Еврейство (нос и бриллианты) принимает блюдо с хлеб-солью-матушку Россию. Однажды (года точно не помню, вероятно 1911-ый или 12-ый) «Новое Время» заказало какому-то проходимцу оскорбительную для отца статью. Так как ее автор (некто Снесарев, если память мне не изменяет) был личностью недуэлеспособной, мой отец вызвал на дуэль редактора газеты, Алексея Суворина, человека вероятно несколько более приемлемого в этом смысле. Переговоры длились несколько дней; я ничего не знал, но однажды в классе заметил, что какой-то открытый на определенной странице журнальчик ходит по рукам и вызывает смешки. Я перехватил его: журнальчик оказался площадным еженедельником, где в кафешантанных стишках расписывалась история вызова со всякими комментариями; из них я между прочим узнал, что в секунданты отец пригласил своего зятя, адмирала Коломийцева, героя японской войны: в Цусимском сражении капитану второго ранга Коломийцеву, командовавшему миноносцем, удалось пришвартоваться к горящему флагманскому броненосцу и снять с него начальника эскадры, раненного в голову адмирала Рождественского, которого лично мой дядя не терпел. По окончании урока я установил, что журнальчик был принесен одним из моих лучших друзей. Я обвинил его в предательстве. В последовавшей драке он, упав навзничь на парту, зацепился ногой обо что-то. У него треснула щиколотка, после чего он пролежал в постели несколько недель, причем благородно скрыл и от семьи и от школьных учителей мое участие в деле.

К ужасным чувствам, возбужденным во мне журнальчиком, болезненно примешивался образ бедного моего товарища, которого как труп нес вниз по лестнице другой товарищ, силач Попов, гориллообразный, бритоголовый, грязный, но довольно

добродушный мужчина-гимназист, — с ним даже боксом нельзя было совладать, — который ежегодно «оставался», так что вероятно вся школа, класс за классом, прозрачно прошла бы через него, если бы в 14-ом году он не убежал на фронт, откуда вернулся гусаром. Как назло в тот день автомобиль за мной не приехал, пришлось взять извозчика, и во время непривычного, невероятно медленного унылого и холодного путешествия с Моховой на Морскую я многое успел передумать. Я теперь понимал, почему накануне мать не спустилась к обеду и почему уже третье утро приходил Тернан, фехтовальщик-тренер, считавшийся еще лучше, чем Лустало. Это не значило, что выбор оружья был решен, — и я мучительно колебался между клинком и пулей. Мое воображение осторожно брало столь любимую, столь жарко дышащую жизнью фигуру фехтующего отца я переносило ее, за вычетом маски и защитной байки, в какой-нибудь сарай или манеж, где зимой дрались на шпажных дуэлях, и вот я уже видел отца и его противника, в черных штанах, с обнаженными торсами, яростно бьющимися, — видел даже и тот оттенок энергичной неуклюжести, которой элегантнейший фехтовальщик не может избежать в настоящем поединке. Этот образ был так отвратителен, так живо представлял я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца, которое вот-вот проткнет шпага, что мне на мгновение захотелось, чтобы выбор пал на более механическое оружие. Но тотчас же мое отчаяние еще усилилось.

Пока сани, в которых я горбился, ползли толчками по Невскому, где в морозном тумане уже зажглись расплывчатые огни, я думал об увесистом черном браунинге, который отец держал в правом верхнем ящике письменного стола. Этот обольстительный предмет, к которому как на поклон я водил Юрика Рауша, был так же знаком мне, как остальные, более очевидные, украшения кабинета: модный в те дни брик-а-брак из хрусталя или камня; многочисленные семейные фотографии; огромный, мягко освещенный Перуджино; небольшие, отливающие медвяным блеском под своими собственными лампочками, голландские полотна; цветы и бронза; и, прямо за чернильницей огромного письменного стола, приделанный к его горизонту, розовато-дымчатый пастельный портрет моей матери работы Бакста: художник написал ее вполоборота, изумительно передав нежные черты, высокий зачес пепельных волос, сизую голубизну глаз, округлый очерк лба, изящную линию шеи. Но когда я просил дряхлого, похожего на тряпичную куклу, возницу ехать скорее, я натыкался на сложный, сонный обман: старик привычным полувзмахом руки обманывал лошадь, показывая, будто собирается вытащить кнутишко из голенища правого

валенка, а лошадь обманывала его тем, что, тряхнув головой, притворялась, что ускоряет трусцу, Я же в снежном оцепенении, в которое меня привела эта тихая езда, переживал все знаменитые дуэли, столь хорошо знакомые русскому мальчику. Грибоедов показывал свою окровавленную руку Якубовичу. Пистолет Пушкина падал дулом в снег. Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову. Я даже воображал, да простит мне Бог, ту бездарнейшую картину бездарного Репина, на которой сорокалетний Онегин целится в кучерявого Собинова. Кажется, нет ни одного русского автора, который не описал бы этих английских дуэлей a volontй', и покамест мой дремотный ванька сворачивал на Морскую и полз по ней, в туманном моем мозгу, как в магическом кристалле, силуэты дуэлянтов сходились — в рощах старинных поместий, на Волковом поле, за Черной Речкой на белом снегу. И, как бы промеж этих наносных образов, бездной зияла моя нежная любовь к отцу — гармония наших отношений, теннис, велосипедные прогулки, бабочки, шахматные задачи, Пушкин, Шекспир, Флобер и тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей.

Предоставив Устину заплатить рупь извозчику, я кинулся в дом. Уже в парадной донеслись до меня сверху громкие веселые голоса. Как в нарочитом апофеозе, в сказочном мире все разрешающих совпадений, Николай Николаевич Коломейцев в своих морских регалиях спускался по мраморной лестнице. С площадки второго этажа, где безрукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек, мои родители еще говорили с ним, и он, спускаясь, со спехом оглядывался на них и хлопал перчаткой по балюстраде. Я сразу понял, что дуэли не будет, что противник извинился, что мир мой цел. Минуя дядю, я бросился вверх на площадку. Я видел спокойное всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Мне удалось, в виде психологического алиби, пролепетать что-то о драке в школе, но тут мое сердце поднялось, — поднялось, как на зыби поднялся «Буйный», когда его палуба на мгновенье сравнялась со срезом «Князя Суворова», и у меня не было носового платка.

Все это было давно, — задолго до той ночи в 1922-ом году, когда в берлинском лекционном зале мой отец заслонил Милюкова от пули двух темных негодяев, и, пока боксовым ударом сбивал с ног одного из них, был другим смертельно ранен выстрелом в спину; но ни тени от этого будущего не падало на нарядно озаренную лестницу петербургского дома, и, как всегда, спокойна была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову, и несколько линий игры в сложной шахматной

композиции не были еще слиты в этюд на доске.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Как известно, книги капитана Майн Рида (1818–1883), в упрощенных переводах, были излюбленным чтением русских мальчиков и после того, как давно увяла его американская и англо-ирландская слава. Владея английским с колыбельных дней, я мог наслаждаться «Безглавым Всадником» (перевожу точно) в несокращенном и довольно многословном оригинале. Двое друзей обмениваются одеждами, шляпами, конями, и злодей ошибается жертвой — вот главный завиток сложной фабулы. Бывшее у меня издание (вероятно, лондонское) осталось стоять на полке памяти в виде пухлой книги в красном коленкоровом переплете, с водянисто-серой заглавной картинкой, глянец которой был сначала подернут дымкой папиросной бумаги, предохранявшей ее от неизвестных посягательств. Я помню постепенную гибель этого защитного листика, который сперва начал складываться неправильно, по уродливой диагонали, а затем изорвался; самую же картинку, как бы выгоревшую от солнца жаркого отроческого воображения, я вспомнить не могу: верно на ней изображался несчастный брат Луизы Пойндекстер, два-три койота, кактусы, колючий мескит, — и вот, вместо той картины, вижу в окно ранчо всамделишную юго-западную пустыню с кактусами, слышу утренний, нежно-жалобный крик венценосной Гамбелевой куропаточки и преисполняюсь чувством каких-то небывалых свершений и наград.

Из Варшавы, где его отец, барон Рауш фон Траубенберг, был генерал-губернатором, мой двоюродный брат Юрий приезжал гостить летом в наше петербургское имение, и с ним-то я играл в общеизвестные майнридовскне игры. Сначала для наших лесных поединков мы пользовались пружинными пистолетами, стреляющими с порядочной силой палочками длиной с карандаш, причем для пущей резвости мы сдирали с металлического кончика резиновую присоску; позднее же мы перешли на духовые ружья разнообразных систем и били друг в друга из них маленькими стальными ярко оперенными стрелами, производившими неглубокие, но чувствительные ранки, если попадали в щеку или руку. Читатель легко может себе представить все те забавы, которые два самолюбивых мальчика могли придумать, пытаясь перещеголять друг друга в смелости; раз мы переправились через реку у лесопилки, прыгая с одного плавучего бревна на другое; все это скользило, вертелось под ногами, и черно синела глубокая вода, и это для меня не представляло большой опасности, так как я хорошо плавал,

между тем как не отстававший от меня Юрик плавать совершенно не умел, скрыл это и едва не утонул в двух саженях от берега.

Летом 1917-го года, уже юношами, мы забавлялись тем, что каждый по очереди ложился навзничь на землю под низкую доску качелей, на которых другой мощно реял, проскальзывая над самым носом лежащего, и покусывали в затылок муравьи, а через полтора года он пал во время конной атаки в крымской степи, и его мертвое тело привезли в Ялту хоронить: весь перед черепа был сдвинут назад силой пяти пуль, убивших его наповал, когда он один поскакал на красный пулемет. Может быть, я невольно подгоняю прошлое под известную стилизацию, но мне сдается теперь, что мой так рано погибший товарищ в сущности не успел выйти из воинственно-романтической майнридовой грезы, которая поглощала его настолько полнее, чем меня, во время наших, не таких уже частых и не очень долгих летних встреч.

2

Недавно в библиотеке американского университета я достал этого самого «Thй Headiess Horseman», в столетнем, очень непривлекательном издании без всяких иллюстраций. Теперь читать это подряд невозможно, но проблески таланта есть, и намечается местами даже какая-то гоголевская красочность. Возьмем для примера описание бара в бревенчатом техасском отеле пятидесятых годов. Франт-бармен, без сюртука, в атласном жилете, в рубашке с рюшами, описан очень живо, и ярусы цветных графинов, среди которых «антикварно тикают» голландские часы, «кажутся радугой, блистающей за его плечами и как бы венчиком окружают его надушенную голову» (очень ранний Гоголь, конечно). «Из стекла в стекло переходят и лед, и вино, и мононгахила (сорт виски)».

Запах мускуса, абсента и лимонной корки наполняет таверну, а резкий свет «канфиновых ламп подчеркивает темные астериски, произведенные экспекторацией (плевками) на белом песке, которым усыпан пол». Лет девяносто спустя, а именно в 1941-ом году, я собирал в тех местах, где-то к югу от Далласа, баснословной весенней ночью, замечательных совок и пяденицу у неоновых огней бессонного гаража.

В бар входит злодей, «рабосекущий миссисиппец», бывший капитан волонтеров, мрачный красавец и бретер, Кассий Калхун.

Он провозглашает грубый тост — «Америка для американцев, а проклятых ирландцев долой!», причем нарочно толкает героя нашего романа, Мориса Джеральда, молодого укротителя мустангов в бархатных панталонах и пунцовом нашейном шарфе: он, впрочем, был не только скромный коноторговец, а, как выясняется впоследствии к сугубому восхищению Луизы, баронет — сэр Морис.

Не знаю, может быть именно этот британский шик и был причиной того, что столь быстренько закатилась слава нашего романиста-ирландца в Америке, его второй родине.

Немедленно после толчка Морис совершает ряд действий в следующем порядке:

Ставит свой стакан с виски на стойку.

Вынимает шелковый платок (актер не должен спешить).

Отирает им с вышитой груди рубашки осквернившее ее виски.

Перекладывает платок из правой руки в левую.

Опять берет стакан со стойки.

Выхлестывает остаток виски в лицо Калхуну.

Спокойно ставит опять стакан на стойку.

Эту художественную серию действий я недаром помню так точно: много раз мы разыгрывали ее с двоюродным братом.

Дуэль на шестизарядных кольтах (нам приходилось их заменять револьверами с восковыми пульками в барабанах) состоялась тут же в опустевшей таверне. Несмотря на интерес, возбуждаемый поединком («оба были ранены… кровь прыскала на песок пола»), уже в десять лет, а то и раньше, что-то неудержимо побуждало меня покинуть таверну, с ее уже ползшими на четвереньках дуэлянтами, и смешаться с затихшей перед таверной толпой, чтобы поближе рассмотреть «в душистом сумраке» неких глухо и соблазнительно упомянутых автором «сеньорит сомнительного звания». Еще с большим волнением читал я о Луизе Пойндекстер, белокурой кузине Калхуна и будущей леди Джеральд, дочке сахарного плантатора. Эта прекрасная, незабвенная девица, почти креолка, является перед нами томимая муками ревности, хорошо известной мне по детским балам в Петербурге, когда какая-нибудь безумно любимая девочка с белым бантом почему-то вдруг начинала не замечать меня. Итак Луиза стоит на плоской кровле своего дома, опершись белой рукой на каменный парапет, еще влажный от ночных рос, и чета ее грудей (так и написано «twin breasts») поднимается и опускается, а лорнет направлен — этот лорнет я впоследствии нашел у Эммы Бовари, а потом его держала Анна Каренина, от которой он перешел к Даме с собачкой и был ею потерян на ялтинском молу. Ревнивой Луизой он был направлен в пятнистую тень под москитами, где тайно любимый ею всадник вел беседу с не нравившейся ни мне, ни ему амазонкой, донной Айсидорой Коваруббио де Лос Ланос, дочкой местного помещика. Автор довольно противно сравнивал эту преувеличенную брюнетку с «хорошеньким, усатеньким молодым человеком», а ее шевелюру с «пышным хвостом дикого коня».

«Мне как-то случилось, — объяснил Морис Луизе, тайно любимой им всаднице, — оказать донне Айсидоре небольшую услугу, а именно избавить ее от шайки дерзких индейцев». «Небольшую услугу! — воскликнула Луиза. — Да знаете ли вы, что кабы мужчина оказал мне такую услугу». — «Чем же вы бы его наградили?» — спросил Морис с простительным нетерпением. — «О, я бы его полюбила!»-крикнула откровенная креолка. — "В таком случае, сударыня, — раздельно выговорил Морис, — я бы отдал полжизни, чтобы вы попали в лапы индейцев, а другую, чтобы спасти вас".

И тут наш романтик-капитан вкрапливает странное авторское признание. Перевожу его дословно: «Сладчайшее в моей жизни

лобзание было то, которое имел я сидючи в седле, когда женщина — прекрасное создание, в отъезжем поле — перегнулась ко мне со своего седла и меня, конного, поцеловала».

Это увесистое «сидючи» («as I sate») придает, конечно, и плотность и продолжительность лобзанию, которое капитан так элегантно «имел» («had»), но даже в одиннадцать лет мне было ясно, что такая кентаврская любовь поневоле несколько ограниченна. К тому же Юрик и я знали одного лицеиста, который это испробовал на Островах, но лошадь его дамы спихнула его лошадь в канаву с водой. Истомленные приключениями в вырском чапаррале, мы ложились на траву и говорили о женщинах.

Невинность наша кажется мне теперь почти чудовищной при свете разных исповедей за те годы, приводимых Хавелок Эллисом, где идет речь о каких-то малютках всевозможных полов, занимающихся всеми греко-римскими грехами, постоянно и всюду, от англосаксонских промышленных центров до Украины (откуда имеется одно особенно вавилонское донесение от помещика). Трущобы любви были незнакомы нам. Заставив меня кровью (добытой перочинным ножом из большого пальца) подписать на пергаменте клятву молчания, тринадцатилетний Юрик поведал мне о своей тайной страсти к замужней даме в Варшаве (ее любовником он стал только гораздо позже-в пятнадцать лет), Я был моложе его на два года, и мне нечем было ему платить за откровенность, ежели не считать нескольких бедных, слегка приукрашенных рассказов о моих детских увлечениях на французских пляжах, где было так хорошо, и мучительно, и прозрачно-шумно, да петербургских домах, где всегда так странно и даже жутко бывало прятаться и шептаться, и быть хватаемым горячей ручкой во время общих игр в чужих незнакомых коридорах, в суровых и серых лабиринтах, полных неизвестных нянь, после чего глухо болела голова, и по каретным стеклам шли радуги огней. Впрочем, в том самом году, который я теперь постепенно освободил от шлака более ранних и более поздних впечатлений, нечто вроде романтического приключения с наплывом первых мужских чувств мне все-таки довелось испытать.

Я собираюсь продемонстрировать очень трудный номер, своего рода двойное сальто-мортале с так называемым «вализским» перебором (меня поймут старые акробаты), и посему прошу совершенной тишины и внимания.

3

Осенью 1910-го года брата и меня отправили с гувернером в Берлин на три месяца, дабы выправить нам зубы: у брата верхний ряд выпячивался из-под губы, а у меня они все росли как попало, один даже добавочный шел из середины неба, как у молодой акулы.

Все это было прескучно. Знаменитый американский дантист в Берлине выкорчевал кое-что козьей ножкой, причиняя дикую неприличную боль, и как ужасен бывал у тогдашних дантистов пасмурный вид в окне перед взвинченным стулом, и вата, вата, сухая, дьявольская вата, которую они накладывали пациенту за десны. Оставшиеся зубы этот жестокий американец перекрутил тесемками перед тем, как обезобразигь нас платиновыми проволоками. Разумеется мы считали, что нам полагается много развлечений в награду за эти адские утра Ин ден Цельтен ахтцен А, — вот вспомнил даже адрес и бесшумный ход наемного электрического автомобиля. Сначала мы много играли в теннис, а когда наступили холода, стали почти ежедневно посещать скетинг-ринг на Курфюрстендаме. Военный оркестр (Германия в те годы была страной музыки) не мог заглушить механической воркотни неумолкаемых роликов. Существовала в России порода мальчиков (Вася Букетов, Женя Кан, Костя Мальцев, — где все они ныне?), которые мастерски играли в футбол, в теннис, в шахматы, блистали на льду катков, перебирая на поворотах «через колено» бритвоподобными беговыми коньками, плавали, ездили верхом, прыгали на лыжах в Финляндии и немедленно научались всякому новому спорту. Я принадлежал к их числу и потому очень веселился на этом паркетном скетинге. Было человек десять инструкторов в красной форме с бранденбургами, большинство из них говорило по-английски (я немецкому языку никогда не научился и в жизни не прочел ни одного литературного произведения по-немецки). Самый ловкий из них, мрачный молодой бандит из Чикаго, научил меня танцевать на роликах. Мой брат, мирный и неловкий, в очках, тихо козылял в сторонке, никому не мешая, а гувернер пил кофе и ел торт мокка в кафе за бархатным барьером. Я вскоре заприметил группу изящных, стройных молодых американок; сначала они все сливались для меня в одно странно-привлекательное явление; но постепенно началась дифференциация. Как-то я тренировался в вальсе и, за несколько секунд до одного из самых болезненных падений, которое мне когда-либо пришлось потерпеть (расшиб все лицо), я услышал из этой обольстительной группы уже

знакомый мне, полнозвучный как удар по арфе голос, выразивший мне одобрение. До сих пор медленно едет она у меня мимо глаз, эта высокая американочка в синем тайере, в большой черной шляпе, насквозь пронзенной сверкающей булавкой, в белых лайковых перчатках и лакированных башмаках, вооруженных какими-то особенными роликами. По ночам я не спал, воображая эту Луизу, ее стройный стан, ее голую, нежно-голубоватую шею, и удивлялся странному физическому неудобству, которое, если и ощущалось мною раньше, то не в связи с какими-нибудь фантазиями, а только оттого, что натирали рейтузы. Как-то я шел через вестибюль ринга и около дорической колонны стояли она и мой роликовый инструктор, и этот гладко причесанный наглец типа Калхуна крепко держал ее за кисть и чего-то добивался, и она по-детски вертела так и сяк плененной рукой, и в ближайшую ночь я несколько раз подряд заколол его, застрелил, задушил, Наш гувернер, тот «Ленский», о котором я писал по другому поводу, высоконравственный и несколько наивный человек, был впервые за границей. Ему не всегда было легко согласовать свой страстный интерес к туристическим приманкам с педагогическим долгом, и в общем нам с братом часто удавалось заводить его в места, куда родители нас бы может быть и не пустили. Так, например, он легко поддался приманчивости Винтергартена, и вот однажды мы очутились с ним сидящими в одной из передних лож под искусственным звездным небом этого знаменитого учреждения и через соломинки потягивающими из-под взбитых сливок гладкий и необыкновенно вкусный «айсшоколаде».

Программа была обычная: был жонглер во фраке; была внушительного вида певица, которая вспыхивала поддельными каменьями, заливаясь ариями в переменных лучах зеленого и красного цвета прожекторов; затем был комик на роликах; между ними и велосипедным номером (о котором скажу в свое время) было в программе объявлено: «Gala Girls», — и с потрясающей и постыдной внезапностью, напомнившей мне падение на черной пылью подернутом катке, я узнал моих американских красавиц в гирлянде горластых «герльз», которые, рука об руку, сплошным пышным фронтом переливались справа налево и потом обратно, ритмически вскидывая то десяток левых, то десяток правых одинаковых розовых ног. Я нашел лицо моей волоокой Луизы и понял, что все кончено, даже если и отличалась она какой-то грацией, каким-то отпечатком наносной неги от своих вульгарных товарок. Сразу перестать думать о ней я не мог, но испытанное потрясение послужило толчком для индуктивного процесса, ибо я вскоре заметил в порядке новых отроческих чудес, что теперь уже

не только она, но любой женский образ, позирующий академической рабыней моему ночному мечтанию, возбуждает знакомое мне, все еще загадочное неудобство. Об этих симптомах я простодушно спросил родителей, которые как раз приехали в Берлин из Мюнхена или Милана, и отец деловито зашуршал немецкой газетой, только что им развернутой, и ответил по-английски, начиная — по-видимому длинное — объяснение интонацией, «мнимой цитаты», при помощи которой он любил разгоняться в речах: «Это, мой друг, всего лишь одна из абсурдных комбинаций в природе — вроде того, как связаны между собой смущение и зардевшиеся щеки, горе и красные глаза, shame and blushes, grief and red eyes… Tolstoi vient de mourir» (Толстой только что умер (франц.)), — вдруг перебил он самого себя другим, ошеломленным голосом, обращаясь к моей матери, тут же сидевшей у вечерней лампы. «Да что ты», — удрученно и тихо воскликнула она, соединив руки, и затем прибавила: «Пора домой», — точно смерть Толстого была предвестником каких-то апокалиптических бед.

4

Вернемся теперь к велосипедному номеру — в моей версии.

Летом следующего, 1911-го, года Юрик Рауш не приезжал и я остался наедине с запасом смутных переживаний. Сидя на корточках перед неудобно низкой полкой в галерее усадьбы, в полумраке, как бы умышленно мешающем мне в моих тайных исследованиях, я разыскивал значение всяких темных, темно соблазнительных и раздражительных терминов в восьмидесятидвухтомной Брокгаузовской энциклопедии. В видах экономии заглавное слово замещалось на протяжении соответствующей статьи его начальной буквой, так что к плохому освещению, пыли и мелкоте шрифта примешивалось маскарадное мелькание прописной буквы, означающей малоизвестное слово, которое пряталось в сером Петите от молодого читателя и малиновой ижицы на его лбу. Ловлею бабочек и всякими видами спорта заполнялись солнечные часы летних суток, но никакое физическое утомление не могло унять беспокойство, ежевечерне высылавшее меня в смутное путешествие. До обеда я ездил верхом, а на закате, надув шины до предельного напряжения, катил Бог весть куда на своем старом «Энфильде» или новом «Свифте», рулевые рога которого я перевернул так, что их вулканитовые концы были ниже уровня седла и позволяли мне гнуть хребет по-гоночному. С чувством бесплотности я углублялся в цветной вечерний воздух и летел по парковой аллее, следуя вчерашнему оттиску моих же данлоповых шин; тщательно объезжал коряжные корни и гуттаперчевых жаб; намечал издали палую веточку и с легким треском надламывал ее чуткой шиной; ловко лавировал между двумя листочками или между камушком и ямкой в земле, откуда мой же проезд выбил его накануне; мгновение наслаждался краткой гладью мостка над ручьем; тормозил и толчком переднего колеса отпахивал беленую калитку в конце Старого парка; и затем, в упоении воли и грусти, стрекотал по твердой липкой обочине полевых дорог.

В то лето я каждый вечер проезжал мимо золотой от заката избы, на черном пороге которой всегда в это время стояла Поленька, однолетка моя, дочка кучера. Она стояла, опершись о косяк, мягко и свободно сложив руки на груди — воплощая и rus и Русь — и следила за моим приближением издалека с удивительно-приветливым сиянием на лице, но по мере того, как я подъезжал, это сияние сокращалось до полуулыбки, затем до слабой игры в углах ее сжатых губ и наконец выцветало вовсе, так что, поровнявшись с нею, я не находил просто никакого

выражения на ее прелестном круглом лице, чуть тронутом оспой, и в косящих светлых глазах. Но как только я проезжал и оглядывался на нее, перед тем, как взмыть в гору, уже опять намечалась тонкая впадинка у нее на щеке, опять лучились таинственным светом ее дорогие черты. Боже мой, как я ее обожал! Я никогда не сказал с ней ни слова, но после того как я перестал ездить по той дороге в тот низко-солнечный час, наше безмолвное знакомство время от времени еще возобновлялось в течение трех-четырех лет. Посещаю, бывало, хмурый, в крагах, со стеком, скотный двор или конюшню, и откуда ни возьмись она вдруг появляется, словно вырастая из золотистой земли, — и всегда стоит немного в сторонке, всегда босая, потирая подъем одной ноги об икру другой, или почесывая четвертым пальцем пробор в светло-русых волосах, и всегда прислоняясь к чему-нибудь, к двери конюшни, пока седлают мне лошадь, или к стволу липы в резко-яркое сентябрьское утро, когда всей оравой деревенская прислуга собиралась у парадного подъезда провожать нас на зиму в город. С каждым разом ее грудь под серым ситцем казалась мне мягче, а голые руки крепче, и однажды, незадолго до ее отъезда в далекое село, куда ее в шестнадцать лет выдали за пьяницу-кузнеца, я заметил как-то, проходя мимо, блеск нежной насмешки в ее широко расставленных, светло-карих глазах.

Странно сказать, но в моей жизни она была первой, имевшей колдовскую способность накипанием света и сладости прожигать сон мой насквозь (а достигала она этого тем, что не давала погаснуть улыбке), а между тем в сознательной жизни я и не думал о сближении с нею, да при этом пуще боялся испытать отвращение от запекшейся грязи на ее ногах и затхлого запаха крестьянского платья, чем оскорбить ее тривиальным господским ухаживанием.

5

Прежде чем расстаться с этим навязчивым образом, мне хотелось бы задержать перед глазами одновременно две картины.

Одна из них долго жила во мне совершенно отдельно от скромной Поленьки, стоявшей на черной ступени золотой избы; оберегая собственный покой, я отказывался отнести к ней то русалочное воплощение ее жалостной красоты, которое я однажды подсмотрел.

Дело было в июне того года, когда нам обоим минуло тринадцать лет; я пробирался по берегу Оредежи, преследуя так называемых «черных» апполонов (Parnassius mnemosyne), диковинных, древнего происхождения, бабочек с полупрозрачными, глянцевитыми крыльями и пушистыми вербными брюшками. Погоня за этими чудными созданиями завела меня в заросль черемух и ольх у самого края холодной синей реки, как вдруг донеслись крики и всплески, и я увидел из-за благоухающего куста Поленьку и трех-четырех других подростков, полоскавшихся нагишом у развалин свай, где была когда-то купальня. Мокрая, ахающая, задыхающаяся, с соплей под курносым носом, с крутыми детскими ребрами, резко намеченными под бледной, пупырчатой от холода кожей, с забрызганными черной грязью икрами, с круглым гребнем, горевшим в темных от влаги волосах, она спасалась от бритоголовой, тугопузой девочки и бесстыдно возбужденного мальчишки с тесемкой вокруг чресл (кажется, против сглазу), которые приставали к ней, хлеща и шлепая по воде вырванными стеблями водяных лилий.

Второй образ относится к Святкам 1916-го года. Стоя в предвечерней тишине на устланной снегом платформе станции Сиверской, я смотрел на дальнюю серебряную рощу, постепенно становившуюся свинцовой под потухающим небом, и ждал, чтобы появился из-за нее гуашевый дым поезда, который должен был доставить меня обратно в Петербург после веселого дня лыжного спорта. Лиловый дым появился, и в эту же минуту Поленька прошла мимо меня с другою молодой крестьянкой, — обе были в толстых платках, в больших валенках, в бесформенных стеганых кофтах с ватой, торчавшей из прорванной черной матерки, и Поленька, с синяком под глазом и вспухшей губой (говорили, что муж ее бьет по праздникам) заметила, ни к кому не обращаясь, задумчиво и мелодично: «А барчук-то меня не признал». Только этот один раз и довелось мне услышать ее голос.

6

Этим голосом говорят со мною ныне те летние вечера, когда отроком я так беззвучно и быстро, бывало, катил мимо длинной тени ее низкой избы. В том месте, где полевая дорога вливалась в пустынное шоссе, я слезал с велосипеда и прислонял его к телеграфному столбу. На близком, целиком раскрывшемся небе медлил грозный в своем великолепии закат. Среди его незаметно меняющихся нагромождений взгляд различая фуксином окрашенные структурные детали небесных организмов, и червонные трещины в темных массивах, и гладкие эфирные мели, и миражи райских островов. Я тогда еще не умел — как теперь отлично умею — справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай он замирает; и тогдашнее мое неумение отвязаться от красоты усугубляло томление. Исполинская тень начинала заливать равнину, и в медвяной тишине ровно гудели столбы, и упруго стучала во мне кровь, и питающиеся по ночам гусеницы некоторых бабочек начинали неторопливо вползать по стеблям своих кормовых растений. С едва уловимым хрустким звуком прелестный голубой червь в зеленую полоску работал челюстями по краю полевого листика, выедая в нем сверху вниз правильную лунку, разгибая шею и снова принимаясь грызть с верхней точки, чтобы углубить полукруг. Машинально я переводил едока вместе с его цветком в одну из всегда бывших при мне коробочек, но мои мысли в кои-то веки были далеко от воспитания бабочек. Колетт, моя пляжная подруга; танцовщица Луиза; все те раскрасневшиеся, душисто-волосые, в низко повязанных, ярких шелковых поясах, девочки, с которыми я играл на детских праздниках; графиня Г., таинственная пассия моего двоюродного брата; Поленька, прислонившаяся с улыбкой странной муки к двери в огне моих новых снов; все это сливалось в один образ, мне еще неизвестный, но который мне скоро предстояло узнать.

Помню один такой вечер… Блеск его рдел на выпуклости велосипедного звонка. Над черными телеграфными струнами веерообразно расходились густо-лиловые ребра роскошных малиновых туч: это было, как некое ликование с заменой кликов гулкими красками. Гул блекнул, гас воздух, темнели поля; но над самым горизонтом, над мелкими зубцами суживающегося к югу бора, в прозрачном, как вода, бирюзовом просвете, сверху оттененном слоями почерневших туч, глазу представлялась как бы частная даль, с собственными украшениями, которые только очень глупый читатель мог бы принять за запасные части данного

заката. Этот просвет занимал совсем небольшую долю огромного неба, и была в нем та нежная отчетливость, которая свойственна предметам, если смотреть не с того конца в телескоп. Там, в миниатюрном виде, расположилось семейство ведряных облаков, скопление светлых воздушных завоев, анахронизм млечных красок; нечто очень далекое, но разработанное до последних подробностей; фантастически уменьшенный, но совсем уже готовый для сдачи мне, мой завтрашний сказочный день.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Я впервые увидел Тамару — выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени, — когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. Кругом, как ни в чем не бывало, сияло и зыбилось вырское лето. Второй год тянулась далекая война. Двумя годами позже, пресловутой перемене в государственном строе предстояло убрать знакомую, кроткую усадебную обстановку, — и уже погромыхивал закулисный гром в стихах Александра Блока.

В начале того лета, и в течение всего предыдущего, имя «Тамара» появлялось (с той напускной наивностью, которая так свойственна повадке судьбы, приступающей к важному делу) в разных местах нашего имения. Я находил его написанным химическим карандашом на беленой калитке или начерченным палочкой на красноватом песке аллеи, или недовырезанным на спинке скамьи, точно сама природа, минуя нашего старого сторожа, вечно воевавшего с вторжением дачников в парк, таинственными знаками предваряла меня о приближении Тамары. В тот июльский день, когда я наконец увидел ее, стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения.

Дождавшись того, чтобы сел невидимый мне овод, она прихлопнула его и, довольная, сквозь ожившую и заигравшую рощу, пустилась догонять сестру и подругу, отчетливо звавших ее; немного позже, с заросшего дикой малиной старого кладбища, боком, как калека, сходившего по крутому склону к реке, я увидел, как все три они шли через мост, одинаково постукивая высокими каблучками, одинаково засунув руки в карманы темно-синих жакеток и, чтобы отогнать мух, одинаково встряхивая головами, убранными цветами и лентами. Очень скоро путем слежки я выяснил, где мать ее снимала дачку: ее скрывала рощица яблоней. Ежедневно, верхом или на велосипеде, я проезжал мимо, — и на повороте той или другой дороги что-то ослепительно взрывалось под ложечкой, и я обгонял Тамару, с деятельно устремленным видом шедшую по обочине. Та же природная стихия, которая произвела ее в тающем блеске березняка, тихонько убрала сперва ее подругу, а потом и сестру; луч моей судьбы явно сосредоточился на темной голове, то в венке васильков, то с большим бантом черногошелка, которым была подвязана на затылке вдвое сложенная каштановая коса; но

только девятого августа по новому стилю я решился с ней заговорить.

Сквозь тщательно протертые стекла времени ее красота все так же близко и жарко горит, как горела бывало. Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, что, благодаря гибкости стана да тонким щиколоткам, не только не нарушало, но напротив подчеркивало ее живость и грацию.

Примесью татарской или черкесской крови объяснялся, вероятно, особый разрез ее веселых, черных глаз и рдяная смуглота щек. Ее профиль на свет был обрисован тем драгоценным пушком, которым подернуты плоды фруктовых деревьев миндальной группы. Ее очаровательная шея 'была всегда обнажена, даже зимой, — каким-то образом она добилась разрешения не носить воротничка, который полагалось носить гимназисткам. У нее были всякие неожиданные прибаутки и огромный запас второстепенных стихов, — тут были и Жадовская, и Виктор Гофман, и К. Р., и Мережковский, и Мазуркевич, и Бог знает еще какие дамы и мужчины, на слова которых писались романсы, вроде «Ваш уголок я убрала цветами» или «Христос воскрес, поют во храме». Сказав что-нибудь смешное или чересчур лирическое, она, сильно дохнув через ноздри, говорила иронически: «Вот как хорошо!» Ее юмор, чудный беспечный смешок, быстрота речи, картавость, блеск и скользкая гладкость зубов, волосы, влажные веки, нежная грудь, старые туфельки, нос с горбинкой, дешевые сладкие духи, — все это, смешавшись, составило необыкновенную, восхитительную дымку, в которой совершенно потонули все 'мои чувства. «Что ж, мы мещаночки, мы ничего, значит, и не знаем», — говорила она с такой щелкающей усмешечкой, словно грызла семечки: но на самом деле она была и тоньше, и лучше, и умнее меня. Я очень смутно представлял себе ее семью: отец служил в другой губернии, у матери было отчество как в пьесе Островского. Жизнь без Тамары казалась мне физической невозможностью, но когда я говорил ей, что мы женимся, как только кончу гимназию, она твердила, что я очень ошибаюсь или нарочно говорю глупости.

Уже во второй половине августа пожелтели березы; сквозь рощи их тихо проплывали, едва взмахивая черным крылом, траурницы, большие бархатные бабочки с палевой каймой. Мы встречались за рекой, в парке соседнего имения, принадлежавшего моему дяде: в то лето он остался в Италии, — и мы с Тамарой безраздельно владели и просторным этим парком с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгин, и беседками, и скамьями, и террасами запертого дома.

Братний и мой гувернер, Волгин, которому по зрелости наших лет полагалось, конечно, ограничивать свое гувернерство лишь участием в теннисе да писанием за нас тех бесовских школьных сочинений, которые задавались на лето (их за него писал какой-то его родственник), пробовал спрятаться в кусты и чуть ли не за версту следить за мной и Тамарой при помощи громоздкого телескопа, найденного им на чердаке вырского дома; дядин управляющий Евсей почтительно мне об этом доложил, и я пожаловался матери: она знала о Тамаре только по моим стихам, которыми я всегда с матерью делился, но, что бы она ни думала о наших с Тамарой свиданьях, куст и труба столь же оскорбили ее, как меня. Когда я по вечерам уезжал в сплошную черноту на верном моем «Свифте», она только покачивала головой да велела лакею не забыть приготовить мне к возвращению простокваши и фруктов. В темноте журчал дождь. Я заряжал велосипедный фонарь магическими кусками карбида, защищал спичку от ветра и, заключив белое пламя в стекло, осторожно углублялся в мрак.

Круг света выбирал влажный выглаженный край дороги между ртутным блеском луж посредине и сединой трав вдоль нее. Шатким призраком мой бледный луч вспрыгивал на глинистый скат у поворота и опять нащупывал дорогу, по которой, чуть слышно стрекоча, я съезжал к реке. За мостом тропинка, отороченная мокрым жасмином, круто шла вверх; приходилось слезать с велосипеда и толкать его в гору, и капало на руку. Наверху мертвенный свет карбида мелькал по лоснящимся колоннам, образующим портик с задней стороны дядиного дома. Там, в приютном углу у закрытых ставень окна, под аркадой, ждала меня Тамара. Я гасил фонарик и ощупью поднимался по скользким ступеням. В беспокойной тьме ночи столетние липы скрипели и шумно накипали ветром. Из сточной трубы, сбоку от благосклонных колонн, суетливо и неутомимо бежала вода, как в горном ущелье.

Иногда случайный добавочный шорох, перебивавший ритм дождя в листве при соприкосновении двух мощных ветвей, заставлял Тамару обращать лицо в сторону воображаемых шагов, и тогда я различал ее таинственные черты, как бы при собственной их фосфористости; но это подкрадывался только дождь, и, тихо выпустив задержанное на мгновение дыхание, она опять закрывала глаза.

С наступлением зимы наш безрассудный роман был перенесен в городскую, гораздо менее участливую обстановку. Все то, что могло казаться — да и кажется многим— просто атрибутами классической поэзии, вроде «лесной сени», «уединенности»,

«сельской неги» и прочих пушкинских галлицизмов, внезапно приобрело весомость и значительность, когда мы в самом деле лишились нашего деревенского убежища. Меблированные комнаты, сомнительные, как говорится, гостиницы, отдельные кабинеты, весь трафарет французских влияний на родную словесность после Пушкина, был, признаюсь, вне предела дерзаний шестнадцатилетнего тенишевца. Негласность свиданий, столь приятная и естественная в деревне, теперь обернулась против нас; и так как обоим нам была невыносима мысль встречаться у меня или у нее на дому, под неизбежным посторонним наблюдением, а лукавства у нас не хватало, чтобы предвидеть, как скоро мы бы с этим наблюдением справились, Тамара, в своей скромной серой шубке, и я с кастетом в бархатном кармане пальто, принуждены были странствовать по улицам, по обледенелым петербургским садам, по закоулкам, где как-то разваливалась набережная и где приходилось сталкиваться с хулиганьем, — и эти постоянные искания приюта порождали странное чувство бездомности: тут начинается тема бездомности, — глухое предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям.

Мы пропускали школу: не помню, как устраивалась Тамара; я же подкупал нашего швейцара Устина, заведовавшего нижним телефоном (24–43), и Владимир Васильевич Гиппус, часто звонивший из школы, чтобы справиться о моем пошатнувшемся здоровье, не видал меня в классе, скажем, с понедельника до пятницы, а во вторник я опять начинал болеть. Мы сиживали на скамейках в Таврическом Саду, сняв сначала ровную снежную попону с холодного сидения, а затем варежки с горячих рук. Мы посещали музеи. В будни по утрам там бывало дремотно и пусто, и климат был оранжерейный по сравнению с тем, что происходило в восточном окне, где красное, как апельсин-королек, солнце низко висело в замерзшем сизом небе. В этих музеях мы отыскивали самые отдаленные, самые неказистые зальца, с небольшими смуглыми голландскими видами конькобежных утех в тумане, с офортами, на которые никто не приходил смотреть, с палеографическими экспонатами, с тусклыми макетками, с моделями печатных станков и тому подобными бедными вещицами, среди которых посетителем забытая перчатка прямо дышала жизнью. Одной из лучших наших находок был незабвенный чулан, где сложены были лесенки, пустые рамы, щетки. В Эрмитаже, помнится, имелись кое-какие уголки, — в одной из зал среди витрин с египетскими, прескверно стилизованными, жуками, за саркофагом какого-то жреца по имени Нана. В Музее Александра Третьего, тридцатая и

тридцать третья залы, где свято хранились такие академические никчемности, как например картины Шишкова и Харламова, — какая-нибудь «Просека в бору» или «Голова цыганенка»: (точнее не помню), — отличались закутами за высокими стеклянными шкалами с рисунками и оказывали нам подобие гостеприимства, — пока не ловил нас грубый инвалид.

Постепенно из больших и знаменитых музеев мы переходили в маленькие, в Музей Суворова, например, где, в герметической тишине одной из небольших комнат, полной дряхлых доспехов и рваных шелковых знамен, восковые солдаты в ботфортах и зеленых мундирах держали почетный караул над нашей безумной неосторожностью. Но куда бы мы ни заходили, рано или поздно тот или другой седой сторож на замшевых подошвах присматривался к нам, что было нетрудно в этой глуши, — и приходилось опять переселяться куда-нибудь, в Педагогический Музей, в Музей придворных карет, и наконец в крохотное хранилище старинных географических карт, — и оттуда опять на улицу, в вертикально падающий крупный снег Мира Искусства.

Под вечер мы часто скрывались в последний ряд одного из кинематографов на Невском, «Пикадилли» или «Паризиана».

Фильмовая техника несомненно шла вперед. Уже тогда, в 1915-ом году, были попытки усовершенствовать иллюзию внесением красок и звуков: морские волны, окрашенные в нездоровый синий цвет, бежали и разбивались об ультрамариновую скалу, в которой я со странным чувством узнавал Rocher de la Vierge (Скалу Пресвятой Девы (франц.)), Биарриц, прибой моего международного детства, и пока как белье полоскалось это море в синьке, специальная машина занималась звукоподражанием, издавая шипенье, которое почему-то никогда не могло остановиться одновременно с морской картиной, а всегда продолжалось еще две-три секунды, когда уже мигала следующая: бодренькие похороны под дождем в Париже или хилые оборванные военнопленные с подчеркнуто нарядными нашими молодцами, захватившими их.

Довольно часто почему-то названием боевика служила целая цитата, вроде «Отцвели уж давно хризантемы в саду» или «И сердцем как куклой играя, он сердце как куклу разбил», или еще «Не. подходите к ней с вопросами» (причем начиналось с того, что двое слишком любознательных интеллигентов с накладными бородками вдруг вскакивали со скамьи на бульваре, имени Достоевского скорее чем Блока, и, жестикулируя, теснили какую-то испуганную даму, подходя к ней, значит, с вопросами).

В те годы у звезд женского пола были низкие лобики, роскошные брови, размашисто подведенные глаза. Одним из

любимцев экрана был актер Мозжухин. Какое-то русское фильмовое общество приобрело нарядный загородный дом с белыми колоннами (несколько похожий на дядин, что трогало меня), и эта усадьба появлялась во всех картинах этого общества. По фотогеническому снегу " ней подъезжал на лихаче Мозжухин, в пальто с каракулевым воротником шалью, в каракулевом колпаке, и устремлял светло-стальной взгляд из темно-свинцовой глазницы на горящее окно, между тем как знаменитый желвачок играл у него под тесной кожей скулы.

Когда прошли холода, мы много блуждали лунными вечерами по классическим пустыням Петербурга. На просторе дивной площади беззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: я держусь лексикона, нравившегося мне тогда. Мы глядели вверх на гладкий гранит столпов, отполированных когда-то рабами, их вновь полировала луна, и они, медленно вращаясь над нами в полированной пустоте ночи, уплывали в вышину, чтобы там подпереть таинственные округлости собора. Мы останавливались как бы на самом краю, — словно то была бездна, а не высота, — грозных каменных громад, и в лилипутовом благоговении закидывали головы, встречая на пути все новые видения, — десяток атлантов и гигантскую урну у чугунной решетки, или тот столп, увенчанный черным ангелом, который в лунном сиянии безнадежно пытался дотянуться до подножья пушкинской строки.

Позднее, в редкие минуты уныния, Тамара говорила, что наша любовь как-то не справилась с той трудной петербургской порой и дала длинную тонкую трещину. В течение всех тех месяцев я не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней — по две-три «пьески» в неделю; в 1916-ом году я напечатал сборник и был поражен, когда она мне указала, что большинство этих стихотворений — о разлуках и утратах, ибо странным образом начальные наши встречи в лирических аллеях, в деревенской глуши, под шорох листьев и шуршанье дождя, нам уже казались в ту беспризорную зиму невозвратным раем, а эта зима — изгнанием. Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать. Ее по заслугам немедленно растерзали те немногие рецензенты, которые заметили ее. Директор Тенишевского Училища, В. В. Гиппиус, писавший (под псевдонимом Бестужев) стихи, мне тогда казавшиеся гениальными (да и теперь по спине проходит трепет от некоторых запомнившихся строк в его удивительной поэме о сыне), принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе.

Был он большой хищник, этот рыжебородый огненный господин, в странно узком двубортном жилете под всегда расстегнутым пиджаком, который как-то летал вокруг него, когда он стремительно шел по рекреационной зале, засунув одну руку в карман штанов и подняв одно плечо. Его значительно более знаменитая, но менее талантливая, кузина Зинаида, встретившись на заседании Литературного Фонда с моим отцом, который был, кажется, его председателем, сказала ему: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет», — своего пророчества она потом лет тридцать не могла мне забыть. Некто Л., журналист, человек хороший, нуждающийся и безграмотный, желая выразить свою благодарность моему отцу за какое-то пособие, написал восторженную статью о моих дрянных стишках, строк пятьсот, сочившихся приторными похвалами; отец успел перехватить ее и воспрепятствовать ее напечатанию, и я живо помню, как мы читали писарским почерком написанный манускрипт и производили звуки — смесь зубовного скрежета и тонкого стона, которым у нас в семье полагалось частным образом реагировать на безвкусицу, неловкость, пошлый промах. Эта история навсегда излечила меня от всякого интереса к единовременной литературной славе и была вероятно причиной того почти патологического равнодушия к «рецензиям», дурным и хорошим, умным и глупым, которое в дальнейшем лишило меня многих острых переживаний, свойственных, говорят, авторским натурам.

Из всех моих петербургских весен та весна 16-го года представляется мне самой яркой, когда вспоминаю такие образы, как: золотисто-розовое лицо моей красивой, моей милой Тамары в незнакомой мне большой белой шляпе среди зрителей футбольного состязания, во время которого редкая удача сопровождала мое голкиперство; вкрадчивый ветер и первую пчелу на первом одуванчике в двух шагах от сетки гола; гудение колоколов и темно-синюю рябь свободной Невы; пеструю от конфетти слякоть Конно-Гвардейского Бульвара на Вербной неделе, писк, хлопанье, американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреневом спирту в стеклянных трубках, вроде как лифты в прозрачных, насквозь освещенных небоскребах Нью-Йорка; бабочку-траурницу — ровесницу нашей любви, — вылетевшую после зимовки и гревшую в луче апрельского солнца на спинке скамьи в Таврическом Саду свои поцарапанные черные крылья с выцветшим до белизны кантом; и какую-то волнующую зыбь в воздухе, опьянение, слабость, нестерпимое желание опять увидеть лес и поле, — в такие дни даже Северянин казался поэтом. Тамара и я всю зиму мечтали об этом возвращении, но

только в. конце мая, когда мы, т. е.

Набоковы, уже переехали в Выру, мать Тамары наконец поддалась на ее уговоры и сняла опять дачку в наших краях, и при этом, помнится, было поставлено дочери одно условие, которое та приняла с кроткой твердостью андерсеновской русалочки. И немедленно по ее приезде нас упоительно обволокло молодое лето, и вот — вижу ее, привставшую на цыпочки, чтобы потянуть книзу ветку черемухи со сморщенными ягодами, и дерево и небо и жизнь играют у нее в смеющемся взоре, и от ее веселых усилий на жарком солнце расплывается темное пятно по желтой чесуче платья под ее поднятой рукой. Мы забирались очень далеко, в леса за Рождествено, в мшистую глубину бора, и купались в заветном затоне, и клялись в вечной любви, и собирали кольцовские цветы для венков, которые она. как всякая русская русалочка, так хорошо умела сплетать, и в конце лета она вернулась в Петербург, чтобы поступить на службу (это и было условие, поставленное ей), а затем несколько месяцев я не видел ее вовсе, будучи поглощен по душевной нерасторопности и сердечной бездарности разнообразными похождениями, которыми, я считал, молодой литератор должен заниматься для приобретения опыта. Эти переживания и осложнения, эти женские тени и измены, и опять стихи, и нелады с легкими, и санатория в снегах, все это сейчас, при восстановлении прошлого, мне не только ни к чему, но еще создает какое-то смещение фокуса, и как ни тереблю винтов наставленной памяти, многое уже не могу различить и не знаю, например, как и где мы с Тамарой расстались. Впрочем, для этого помутнения есть и другая причина: в разгар встреч мы слишком много играли на струнах разлуки. В то последнее наше лето, как бы упражняясь в ней, мы расставались навеки после каждого свидания, еженощно, на пепельной тропе или на старом мосту, со сложенными на нем тенями перил, между небесным месяцем и речным, я целовал ее теплые, мокрые веки и свежее от дождя лицо, и, отойдя, тотчас возвращался, чтобы проститься с нею еще рве, а потом долго взъезжал вверх, по крутой горе, к Выре, согнувшись вдвое, вжимая педали в упругий, чудовищно мокрый мрак, принимавший символическое значение какого-то ужаса и горя, какой-то зловеще поднимавшейся силы, которую нельзя было растоптать.

С раздирающей душу угрюмой яркостью помню вечер в начале следующего лета, 1917-го года, при последних вспышках еще свободной, еще приемлемой России. После целой зимы необъяснимой разлуки, вдруг, в дачном поезде, я опять увидел Тамару, Всего несколько минут, между двумя станциями, мы

простояли с ней рядом в тамбуре грохочущего вагона. Я был в состоянии никогда прежде не испытанного смятения; меня душила смесь мучительной к ней любви, сожаления, удивления, стыда, и я нес фантастический вздор; она же спокойно ела шоколад, аккуратно отламывая квадратные дольки толстой плитки и рассказывала про контору, где работала. С одной стороны полотна, над синеватым болотом, темный дым горящего торфа сливался с дотлевающими развалинами широкого оранжевого заката. Интересно, мог ли бы я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски. Всем известно, какие закаты стояли знаменьями в том году над дымной Россией, и впоследствии, в полуавтобиографической повести, я почувствовал себя вправе связать это с воспоминанием о Тамаре; но тогда мне было не до того; никакая поэзия не могла украсить страдание. Поезд на минуту остановился. Раздался простодушный свирест кузнечика, — и, отвернувшись, Тамара опустила голову и сошла по ступеням вагона в жасмином насыщенную тьму,

3

В американском издании этой книги мне пришлось объяснить удивленному читателю, что эра кровопролития, концентрационных лагерей и заложничества началась немедленно после того, что Ленин и его помощники захватили власть. Зимой 1917-го года демократия еще верила, что можно предотвратить большевистскую диктатуру. Мой отец решил до последней возможности оставаться в Петербурге. Семью же он отправил в еще жилой Крым. Мы поехали двумя партиями; брат и я ехали отдельно от матери и трех младших детей. Мне было восемнадцать лет. В ускоренном порядке, за месяц до формального срока, я сдал выпускные экзамены и рассчитывал закончить образование в Англии, а затем организовать энтомологическую экспедицию в горы Западного Китая: все было очень просто и правдоподобно, и, в общем, многое сбылось. Весьма длительная поездка в Симферополь началась в довольно еще приличной атмосфере, вагон первого класса был жарко натоплен, лампы были целы, в коридоре стояла и барабанила по стеклу актриса, и у меня была с собой целая кипа беленьких книжечек стихов со всей гаммой тогдашних заглавий, т. е. от простецкого «Ноктюрна» до изысканного «Пороша». Где-то в середине России настроение испортилось: в поезд, включая наш спальный вагон, набились какие-то солдаты, возвращавшиеся с какого-то фронта восвояси. Мы с братом почему-то нашли забавным запереться в нашем купе и никого не впускать. Продолжая натиск, несколько солдат влезли на крышу вагона и пытались, не без некоторого успеха, употребить вентилятор нашего отделения в виде уборной. Когда замок двери не выдержал, Сергей, обладавший сценическими способностями, изобразил симптомы тифа, и нас оставили в покое. На третье, что ли, утро, едва рассвело, я воспользовался остановкой, чтобы выйти подышать свежим воздухом. Нелегко было пробираться по коридору через руки, лица и ноги вповалку спящих людей. Белесый туман висел над платформой безымянной станции. Мы находились где-то недалеко от Харькова. Я был, смешно вспомнить, в котелке, в белых гетрах, и в руке держал трость из прадедовской коллекции, — трость светлого, прелестного, веснушчатого дерева, с круглым коралловый набалдашником в золотой короносбразной оправе.

Признаюсь, что, будь я на месте одного из тех трагических бродяг в солдатской шинели, я бы не удержался от соблазна схватить франта, прогуливавшегося по платформе, и уничтожить

его. Только я собрался влезть обратно в вагон, как поезд дернулся, и от толчка тросточка моя выскользнула из рук и упала под поплывший поезд. Особенно привязан к ней я не был (через пять лет, в Берлине, я ее по небрежности потерял), но на меня смотрели из окон, и пыл молодого самолюбия заставил меня сделать то, на что сегодня бы никак не решился. Я дал проползти вагону, третьему, четвертому, всему составу (русские поезда, как известно, очень постепенно набирали скорость), и, когда наконец обнажились рельсы, поднял лежавшую между ними трость и бросился догонять уменьшавшиеся, как в кошмаре, буфера. Крепкая пролетарская рука, следуя правилам сентиментальных романов наперекор наитиям марксизма, помогла мне взобраться на площадку последнего вагона. Но если бы я поезда не догнал или был бы нарочно выпущен из этих веселых объятий, правила жанра, может быть, не были бы нарушены, ибо я оказался бы недалеко от Тамары, которая переехала на юг и жила на хуторе, в каких-нибудь ста верстах от места моего глупого приключения.

4

О ее местопребывании я неожиданно узнал через месяц после того, как мы осели в Гаспре, около Кореиза. Крым показался мне совершенно чужой страной: все было не русское, запахи, звуки, потемкинская флора в парках побережья, сладковатый дымок, разлитый в воздухе татарских деревень, рев осла, крик муэдзина, его бирюзовая башенка на фоне персикового неба; все это решительно напоминало Багдад, — и я немедленно окунулся в пушкинские ориенталии. И вот, вижу себя стоящим на кремнистой тропинке над белым как мел руслом ручья, отдельные струйки которого прозрачными дрожащими полосками оплетали яйцеподобные камни, через которые они текли, — и держащим в руках письмо от Тамары. Я смотрел на крутой обрыв Яйлы, по самые скалы венца обросший каракулем таврической сосны, на дубняк и магнолии между горой и морем; на вечернее перламутровое небо, где с персидской яркостью горел лунный серп, и рядом звезда, — и вдруг, с неменьшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания. Тут не только влияли пушкинские элегии и привозные кипарисы, тут было настоящее; порукой этому было подлинное письмо невымышленной Тамары, и с тех пор на несколько лет потеря родины оставалась для меня равнозначной потере возлюбленной, пока писание, довольно, впрочем, неудачной, книги («Машенька») не утолило томления.

Между тем жизнь семьи коренным образом изменилась. За исключением некоторых драгоценностей, случайно захваченных и хитроумно схороненных в жестянках с туалетным тальком, у нас не оставалось ничего. Но не это было, конечно, существенно.

Местное татарское правительство смели новенькие советы, из Севастополя прибыли опытные пулеметчики и палачи, и мы попали в самое скучное и унизительное положение, в котором могут быть люди, — то положение, когда вокруг все время ходит идиотская преждевременная смерть, оттого что хозяйничают человекоподобные и обижаются, если им что-нибудь не по ноздре. Тупая эта опасность плелась за нами до апреля 1918-го года. На ялтинском молу, где Дама с собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных жителей и, поставив спиной к морю, расстреливали их; год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоящих навытяжку мертвецов. Избежав всяческие опасности на севере, отец к тому времени присоединился к нам, и вероятно в конце концов до него бы добрались; какая-то странная

атмосфера беспечности обволакивала жизнь. В своей Гаспре графиня Панина предоставила нам отдельный домик через сад, а в большом жили ее мать и отчим, Иван Ильич Петрункевич, старый друг и сподвижник моего отца. На террасе так недавно — всего каких-нибудь пятнадцать лет назад — сидели Толстой и Чехов. В некоторые ночи, когда особенно упорными становились слухи о грабежах и расстрелах, отец, брат и я почему-то выходили караулить сад.

Однажды, в январе, что ли, к нам подкралась разбойничьего вида фигура, которая оказалась нашим бывшим шофером Цыгановым: он не задумался проехать от самого Петербурга на буфере, по всему пространству ледяной и звериной России, только для того, чтобы доставить нам деньги, посланные друзьями. Привез он и письма, пришедшие на наш петербургский адрес (неистребимость почты всегда поражала меня), и среди них было то первое письмо от Тамары, которое я читал под каплей звезды. Прожив у нас с месяц, Цыганов заявил, что крымская природа ему надоела, и отправился тем же способом на север, с большим мешком за плечами, набитым различными предметами, которые мы бы с удовольствием ему отдали, знай мы, что ему приглянулись все эти ночные сорочки, пикейные жилеты, теннисные туфли, дорожные часы, утюг, неуклюжий пресс для штанов, еще какая-то чепуха: полный список мы получили от горничной, чьих бледных чар он, кажется, тоже не пощадил. Любопытно, что сразу разгадав секрет туалетного талька, он уговорил мать перевести эти кольца и жемчуга в более классическое место, и сам вырыл для них в саду яму, где они оказались в полной сохранности после его отъезда.

Розовый дымок цветущего миндаля уже оживлял прибрежные склоны, и я давно занимался первыми бабочками, когда большевики исчезли и скромно появились немцы. Они кое-что подправили на виллах, откуда эвакуировались комиссары, и отбыли в свою очередь. Их сменила добровольческая армия. Отец вошел министром юстиции в Крымское Краевое Правительство и уехал в Симферополь, а мы переселились в Ливадию. Ялта ожила. Как почему-то водилось в те годы, немедленно возникли всякие театральные предприятия, начиная с удручающе вульгарных кабаре и кончая киносъемками Хаджи-Мурата. Однажды, поднимаясь на Ай-Петри в поисках местного подвида испанской сатириды, я встретился на горной тропе со странным всадником в черкеске. Его лицо было удивительным образом расписано желтой краской, и он, не переставая, неуклюже и гневно, дергал поводья лошади, которая, не обращая никакого внимания на всадника, спускалась по крутой тропе, с сосредоточенным

выражением гостя, решившего по личным соображениям покинуть шумную вечеринку. В несчастном Хаджи я узнал столь знакомого нам с Тамарой актера Мозжухина, которого лошадь уносила со съемки. «Держите проклятое животное», — сказал он, увидев меня, но в ту же минуту, с хрустом и грохотом осыпи, поддельного Хаджи нагнало двое настоящих татар, а я со своей рампеткой продолжал подниматься сквозь бор и буковый лес к зубчатым скалам.

В течение всего лета я переписывался с Тамарой. Насколько прекраснее были ее удивительные письма витиеватых и банальных стишков, которые я когда-то ей посвящал; с какой силой и яркостью воскрешала она северную деревню! Слова ее были бедны, слог был обычным для восемнадцатилетней барышни, но интонация… интонация была исключительно чистая и таинственным образом превращала ее мысли в особенную музыку. «Боже, где оно-все это далекое, светлое, милое!» Вот этот звук дословно помню из одного ее письма, — и никогда впоследствии не удалось мне лучше нее выразить тоску по прошлому.

Этим письмам ее, этим тогдашним мечтам о ней я обязан особому оттенку, 8 который с тех пор окрасилась тоска по родине. Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее можно только с жизнью. Ныне, если воображаю колтунную траву Яйлы или Уральское ущелье, или солончаки за Аральским морем, я остаюсь столь же холоден в патриотическом и ностальгическом смысле, как в отношении, скажем, полынной полосы Невады или рододендронов Голубых Гор; но дайте мне, на любом материке, лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается. Каково было бы в самом деле увидать опять Выру и Рождествено, мне трудно представить себе несмотря на большой опыт. Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом, под фамильей Никербокер. Это можно было бы сделать.

Но вряд ли я когда-либо сделаю это. Слишком долго, праздно, слишком расточительно я об этом мечтал. Я промотал мечту. Разглядываньем мучительных миниатюр, мелким шрифтом, двойным светом, я безнадежно испортил себе внутреннее зрение.

Совершенно так же я истратился, когда в 1918-ом году мечтал, что к зиме, когда покончу с энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию и доберусь до тамариного хуторка; но зима прошла-и я все еще собирался, а в марте Крым стал крошиться под напором красных, и началась эвакуация. На небольшом греческом судне «Надежда», с грузом

сушеных фруктов возвращавшемся в Пирей, мы в начале апреля вышли из севастопольской бухты. Порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба, ее звук, последний звук России, стал замирать, но берег все еще вспыхивал, не то вечерним солнцем в. стеклах, не то беззвучными отдаленными взрывами, и я старался сосредоточить мысли на шахматной партии, которую играл с отцом (у одного из коней не хватало головы, покерная фишка заменяла недостающую ладью), и я не знаю, что было потом с Тамарой.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Летом 1919-го года мы поселились в Лондоне. Отец и раньше бывал в Англии, а в феврале 1916-го года приезжал туда с пятью другими видными деятелями печати (среди них были Алексей Толстой, Немирович-Данченко, Чуковский) по приглашению британского правительства, желавшего показать им свою военную деятельность, которая недостаточно оценивалась русским общественным мнением. Были обеды и речи. Во время аудиенции у Георга Пятого Чуковский, как многие русские преувеличивающий литературное значение автора «Дориана Грея», внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения — «дзи воркс» — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, ненамного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман-"бруар"? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, — замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни.

Об этом и о других забавных недоразумениях отец замечательно рассказывал за обеденным столом, но в его книжке «Из воюющей Англии» (Петроград, 1916 г.) я нахожу мало примеров его обычного юмора; он не был писателем, и я не слышу его голоса, например, в описании посещения английских окопов во Фландрии, где гостеприимство хозяев любезно включило даже взрыв немецкого снаряда вблизи посетителей. Отчет этот сначала печатался в «Речи»; в одной из статей отец рассказал, с несколько старосветским простодушием, о том, как он подарил свое вечное перо Swan адмиралу Джеллико, который за завтраком занял его, чтобы автографировать меню, и похвалил его плавность. Неуместное обнародование названия фирмы получило немедленный отклик в огромном газетном объявлении от фирмы Mabie, Todd Co. Ltd., которая цитировала отца и изображала его на рисунке предлагающим ее изделие командиру флота под хаотическим небом морского сражения.

Но теперь, три года спустя, не было ни речей, ни банкетов, После года пребывания в Лондоне отец с матерью и тремя младшими детьми переехал в Берлин (где до своей смерти 28-го марта 1922 года редактировал с И. В. Гессеном антисоветскую газету «Руль»), между тем как брат мой и я поступили осенью

1919-го года в Кембриджский университет-он в Christ's Collиge, а я в Trinity.

2

Помню мутный, мокрый и мрачный октябрьский день, когда с неловким чувством, что участвую в каком-то ряженье, я в первый раз надел тонкотканый иссиня-черный плащ средневекового покроя и черный квадратный головной убор с кисточкой, чтобы представиться Гаррисону, моему «тютору», наставнику, следящему за успехами студента. Обойдя пустынный и туманный двор колледжа, я поднялся по указанной мне лестнице и постучал в слегка приоткрытую массивную дверь. Далекий голос отрывисто пригласил войти. Я миновал небольшую прихожую и попал в просторный кабинет. Сумерки опередили меня; в кабинете не было света, кроме пышущего огня в большом камине, около которого сидела темная фигура. Я подошел со словами «Моя фамилья — » и вступил в чайные принадлежности, стоявшие на ковре около низкого камышового кресла Гаррисона. С недовольным кряком он наклонился с сиденья и зачерпнул с ковра в небрезгливую горсть, а затем шлепнул обратно в чайник черное месиво чайных листьев. Так студенческий цикл моей жизни начался с неловкости, и этим предопределилась длинная серия неуклюжестей, ошибок и всякого рода неудач и глупостей, включая романтические, которые преследовали меня в продолжение трех-четырех последовавших лет.

Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в сожители другого White Russian, так что сначала я делил квартирку в Trinity Lane с несколько озадаченным соотечественником, который все советовал мне, дабы восполнить непонятные пробелы в моем образовании, почитать «Протоколы Сионских мудрецов» да какую-то вторую книгу, попавшуюся ему в жизни, кажется «L'homme qui Assassina» («Человек, который убил» (франц.)) Фаррера. В конце года он, не выдержав первокурсных экзаменов, вынужден был согласно регламенту покинуть Кембридж, и остальные два года я жил один. Апартаменты, которые я занимал, поражали меня своим убожеством по сравнению с обстановкой моего русского детства, ибо, — как теперь мне ясно, — я, метя в Англию, рассчитывал попасть не в какое-то неизвестное продолжение юности, а назад, в красочное младенчество, которому именно Англия, ее язык, книги и вещи придавали нарядность и сказочность. Вместо этого был просиженный, пылью пахнущий диван, мещанские подушечки, тарелки на стене, раковины на камине, и, на видном месте, ветхая пианола с грыжей, ужасные, истошные и трудные звуки которой квартирная хозяйка позволяла и даже просила выдавливать в любой день,

кроме воскресений. То, что кто-то совершенно посторонний мог мне что-нибудь позволять или запрещать, было мне настолько внове, что сначала я был уверен, что штрафы, которыми толстомордые колледжевые швейцары в котелках грозили, скажем, за гулянье по мураве, — просто традиционная шутка. Мимо моего окна шел к службам пятисотлетний переулочек, вдоль которого серела глухая стена. В спальне не полагалось топить.

Из всех щелей дуло, постель была как глетчер, в кувшине за ночь набирался лед, не было ни ванны, ни даже проточной воды; приходилось поэтому по утрам совершать унылое паломничество в ванное заведение при колледже, идти по моему переулочку среди туманной стужи, в тонком халате поверх пижамы, с губкой в клеенчатом мешке под мышкой. Я часто простужался, но ничто в мире не могло бы заставить меня носить те нательные фуфайки, чуть ли не из медвежьей шерсти, которые англичане носили под сорочкой, после чего поражали иностранца тем, что зимой гуляли без пальто. Рядовой кембриджский студент носил башмаки на резиновых подошвах, темно-серые фланелевые панталоны, бурый вязаный жилет с рукавами (джемпер) и спортивный пиджак с хлястиком. Модники предпочитали пиджак от хорошего костюма, ярко-желтый джемпер, бледно-серые фланелевые штаны и старые бальные туфли. Пора моих онегинских забот длилась недолго, но живо помню, как было приятно открыть существование рубашек с пришитыми воротничками и необязательность подвязок. Не буду продолжать опись этих маскарадных впечатлений. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности, — величественные ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены в пиковых тузах плюща, — не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей тогда мало осознанной любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, от разымчивой банальности тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов, — и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать

по всем карманам души и увезти с собой, кабы предвидел разлуку.

Некоторым моим Собратьям по изгнанию эти чувства были столь очевидны и знакомы, что заговорить о них даже в том приглушенном тоне, которого стараюсь придерживаться сейчас, показалось бы лишним и неприличным. Когда же мне случалось беседовать о том о сем с наиболее темными и реакционными из русских в Англии, я замечал, что патриотизм и политика сводились у них к животной злобе, направленной против Керенского скорей, чем Ленина, и зависевшей исключительно от материальных неудобств и потерь. Тут особенно разговаривать было нечего; гораздо сложнее обстояло дело с теми английскими моими знакомыми, которые считались, — и которых я сам считал, — культурными, тонкими, человеколюбивыми, либеральными людьми, но которые, несмотря на свою духовную изысканность, начинали нести гнетущий вздор, как только речь заходила о России. Мне особенно вспоминается один студент, прошедший через войну и бывший года на четыре старше меня: он называл себя социалистом, писал стихи без рифм и был замечательным экспертом по (скажем) египетской истории. Это был долговязый великан, с зачаточной лысиной и лошадиной челюстью, и его медлительные и сложные манипуляции трубки раздражали собеседника, не соглашавшегося с ним, но в другое время пленяли своей комфортабельностью. Странно вспомнить, я в те годы «спорил о политике», — много и мучительно спорил с ним о России, в которой он, конечно, никогда не был; горечь исчезала, как только он начинал говорить о любимых наших английских поэтах; ныне он у себя на родине крупный ученый; назову его Бомстон, как Руссо назвал своего дивного лорда.

Говорят, что в ленинскую пору сочувствие большевизму со стороны английских и американских передовых кругов основано было на соображениях внутренней политики. Мне кажется, что в значительной мере оно зависело от простого невежества. То немногое, что мой Бомстон и его друзья знали о России, пришло на Запад из коммунистических мутных источников. Когда я допытывался у гуманнейшего Бомстона, как же он оправдывает презренный и мерзостный террор, установленный Лениным, пытки и расстрелы, и всякую другую полоумную расправу, — Бомстон выбивал трубку о чугун очага, менял положение громадных скрещенных ног и говорил, что не будь союзной блокады, не было бы и террора. Всех русских эмигрантов, всех врагов Советов от меньшевика до монархиста, он преспокойно сбивал в кучу «царистских элементов», и что бы я ни кричал, полагал, что князь Львов родственник государя, а Милюков

бывший царский министр. Ему никогда не приходило в голову, что если бы он и другие иностранные идеалисты были русскими в России, их бы ленинский режим истребил немедленно. По его мнению, то, что он довольно жеманно называл «некоторое единообразие политических убеждений» при большевиках, было следствием «отсутствия всякой традиции свободомыслия» в России. Особенно меня раздражало отношение Бомстона к самому Ильичу, который, как известно всякому образованному русскому, был совершенный мещанин в своем отношении к искусству, знал Пушкина по Чайковскому и Белинскому и «не одобрял модернистов», причем под «модернистами» понимал Луначарского и каких-то шумных итальянцев; но для Бомстона и его друзей, столь тонко судивших о Донне и Хопкинсе, столь хорошо понимавших разные прелестные подробности в только что появившейся главе об искусе Леопольда Блума, наш убогий Ленин был чувствительнейшим, проницательнейшим знатоком и поборником новейших течений в литературе, и Бомстон только снисходительно улыбался, когда я, продолжая кричать, доказывал ему, что связь между передовым в политике и передовым в поэтике, связь чисто словесная (чем, конечно, радостно пользовалась советская пропаганда), и что на самом деле, чем радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем обыкновенно консервативнее он в художественных.

Я нашел способ расшевелить немножко невозмутимость Бомстона, только когда я стал развивать ему мысль, что русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, как своеобразную эволюцию полиции (странно безличной и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах — и ныне достигшей такого расцвета); а во-вторых, как развитие изумительной, вольнолюбивой культуры. Эти трюизмы встречались английскими интеллигентами с удивлением, досадой и насмешкой, между тем как молодые англичане ультраконсервативные (как например двое высокородных двоюродных братьев Бомстона) охотно поддерживали меня, но делали это из таких грубо реакционных соображений и орудовали такими простыми черносотенными понятиями, что мне было только неловко от их презренной поддержки. Я кстати горжусь, что уже тогда, в моей туманной, но независимой юности, разглядел признаки того, что с такой страшной очевидностью выяснилось ныне, когда постепенно образовался некий семейный круг, связывающий представителей всех наций: жовиальных строителей империи на своих просеках среди джунглей; немецких мистиков и палачей; матерых погромщиков из славян; жилистого

американца-линчера; и, на продолжении того же семейного круга, тех одинаковых, мордастых, довольно бледных и пухлых автоматов с широкими квадратными плечами, которых советская власть производит ныне в таком изобилии после тридцати с лишним лет искусственного подбора.

3

Очень скоро я бросил политику и весь отдался литературе.

Из моего английского камина заполыхали на меня те червленые щиты и синие молнии, которыми началась русская словесность.

Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира. Я зачитывался великолепной описательной прозой великих русских естествоиспытателей и путешественников, открывавших новых птиц и насекомых в Средней Азии. Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашел на книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горациев Толковый Словарь Даля в четырех томах. Я приобрел его за полкроны и читал его, по несколько страниц ежевечерне, отмечая прелестные слова и выражения:

«ольял» — будка на баржах (теперь уже поздно, никогда не пригодится). Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно впрочем сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то донкихотским нагромождением томов (тут был и Мельников-Печерский, и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого-нибудь словесного образа. Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно — стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелла до Хаусмана, которыми был заражен самый воздух моего тогдашнего быта. Но Боже мой, как я работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны — и как радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал. Внезапно, на туманном ноябрьском рассвете, я приходил в себя и замечал, как тихо, как холодно. Тошнило от выкуренных двадцати турецких папирос. И все же я долго еще не мог заставить себя перейти в спальню, боясь не только бессонницы, сколько сердечных перебоев да того редкого, хоть и пустого недуга, которому я всегда был подвержен, anxietas tibiarum-когда ноги «тянет», как у беременной женщины. В камине что-то еще тлело под пеплом: зловещий закат сквозь лишай бора;-и, подкинув еще угля, я устраивал тягу, затянув пасть камина сверху донизу двойным листом лондонского «Таймса». Начиналось приятное гудение за бумагой, тугой, как барабанная шкура, и прекрасной, как пергамент на свет. Гуд превращался в гул, а там и в могучий рев, оранжево-темное пятно

появлялось посредине страницы, оно вдруг взрывалось пламенем, и огромный горящий лист с фырчащим шумом освобожденного феникса улетал в трубу к звездам.

Приходилось платить несколько шиллингов штрафа, если властям доносили об этой жар-птице.

Литературная братья, Бомстон и его несколько упадочный кружок, и какие-то молодые люди, пишущие триолеты, весьма сочувствовали моим ночным трудам, но зато не одобряли множества других моих интересов, как например: энтомология, местные красавицы и спорт. Я особенно увлекался футболом, тем, что называли футболом в России и старой Англии, а в Америке называют соккер. Как иной рождается гусаром, так я родился голкипером. В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, доблестное искусство вратаря искони окружено ореолом особого романтизма. В его одинокости и независимости есть что-то байроническое. На знаменитого голкипера, идущего по улице, глазеют дети и девушки. Он соперничает с матадором и с гонщиком в загадочном обаянии. Он носит собственную форму; его вольного образца свитер, фуражка, толстозабинтованные колени, перчатки, торчащие из заднего кармана трусиков, резко отделяют его от десяти остальных одинаково-полосатых членов команды. Он белая ворона, он железная маска, он последний защитник. Во время матча фотографы поблизости гола, благоговейно преклонив одно колено, снимают его, когда он ласточкой ныряет, чтобы концами пальцев чудом задеть и парировать молниеносный удар «шут» в угол, или когда, чтобы обнять мяч, он бросается головой вперед под яростные ноги нападающих, — и каким ревом исходит стадион, когда герой остается лежать ничком на земле перед своим незапятнанным голом.

Увы, в Англии, на родине футбола, некоторая угрюмость, сопряженная со всяким спортом, национальный страх перед показным блеском и слишком большое внимание к солидной сыгранности всей команды мало поощряли причудливые стороны голкиперского искусства. По крайней мере, этими соображениями я старался объяснить мое, не столь удачное, как мечталось, участие в университетском футболе. Мне не везло, — а кроме того, мне все совали в обременительный пример моего предшественника и соотечественника Хомякова, действительно изумительного вратаря, — вроде того, как чеховского Григоряна критики донимали ссылками на Тургенева. О, разумеется, были блистательные бодрые дни на футбольном поле, запах земли и травы, волнение важного состязания, — и вот, вырывается и близится знаменитый форвард противника, и ведет новый желтый

мяч, и вот, с пушечной силой бьет по моему голу, — и жужжит в пальцах огонь от отклоненного удара. Но были и другие, более памятные, более эзотерические дни, под тяжелыми зимними небесами, когда пространство перед моими воротами представляло собой сплошную жижу черной грязи, и мяч был точно обмазан салом, и болела голова после бессонной ночи, посвященной составлению стихов, погибших к утру. Изменял глазомер, — и пропустив второй гол, я с чувством, что жизнь вздор, вынимал мяч из задней сетки. Затем наша сторона начинала напирать, игра переходила на другой конец поля. Накрапывал нудный дождь, переставал, как в «Скупом рыцаре», и шел опять. С какой-то воркующей нежностью кричали галки, возясь в безлиственном ильме. Собирался туман. Игра сводилась к неясному мельканью силуэтов у едва зримых ворот противника. Далекие невнятные звуки пинков, свисток, опять мутное мелькание — все это никак не относилось ко мне. Сложив руки на груди и прислонившись к левой штанге ворот, я позволял себе роскошь закрыть глаза, и в таком положении слушал плотный стук сердца, и ощущал слепую морось на лице, и слышал звуки все еще далекой игры, и думал о себе, как об экзотическом существе, переодетом английским футболистом п сочиняющем стихи на никому неизвестном наречии, о заморской стране. Неудивительно, что товарищи мои по команде не очень меня жаловали, Но странно: что-то было такое в Кембридже… Не футбол, не крики газетчиков в сгущающейся темноте, не крепкий чай с розовыми и зелеными пирожными, — словом, не преходящая мода и не чувствам доступные подробности, а тонкая сущность, которую я теперь бы определил, как приволье времени и простор веков. На что ни посмотришь кругом, ничто не было стеснено или занавешено по отношению к стихии времени; напротив, всюду зияли отверстия в его сизую стихию, так что мысль привыкала работать в особенно чистой и вольной среде. Из-за того, что в физическом пространстве это было не так, т. е. тело стесняли узкий переулок, стенами заставленный газон, темные прохлады и арки, душа особенно живо воспринимала свободные дали времени и веков.

У меня не было ни малейшего интереса к истории Кембриджа или Англии, и я был уверен, что Кембридж никак не действует на мою душу; однако именно Кембридж снабжал меня и мое русское раздумье не только рамой, но и ритмом. На независимого юношу среда только тогда влияет, когда в нем уже заложена восприимчивая частица; такой частицей было во мне все то английское, чем питалось мое детство. Мне впервые стало это ясно в последнюю мою кембриджскую весну, когда я

почувствовал себя в таком же естественном соприкосновении с непосредственной средой, в каком я был с моим русским прошлым, и этого состояния гармонии я достиг в ту минуту, когда то, чем я только и занимался три года, кропотливая реставрация моей может быть искусственной, но восхитительной России, была наконец закончена, т. с. я уже знал, что закрепил ее в душе навсегда.

Один из немногих «утилитарных» грехов на моей совести это то, что я употребил (очень правда небольшую) долю этого драгоценного материала для легкой и успешной сдачи экзаменов.

Едва ли не самым замысловатым вопросом было предложение описать сад Плюшкина, — тот сад, который Гоголь так живописно завалил всем, что набрал из мастерских русских художников в Риме.

4

Не стыжусь нежности, с которой вспоминаю задумчивое движение по кембриджской узкой и излучистой реке, сладостный гавайский вой граммофонов, плывших сквозь тень и свет, и ленивую руку той или другой Виолетты, вращавшей свой цветной парасоль, откинувшись на подушки своеобразной гондолы, которую я неспешно подвигал при помощи шеста. Белые и розовые каштаны были в полном цвету: их громады толпились по берегам, вытесняя небо из реки, и особое сочетание их листьев и конусообразных соцветий составляло картину, как бы вытканную en escalier (лесенкой (франц.)).. Теплый воздух пропитан был до странности крымскими запахами, чуть ли не мушмулой. Три арки каменного, венецианского вида мостика, перекинутого через узкую речку, образовали в соединении со своими отражениями в воде три волшебных овала, и в свою очередь вода наводила переливающийся отсвет на внутреннюю сторону свода, под который скользила моя гондола. Порою лепесток, роняемый цветущим деревом, медленно падал, и со странным чувством, что, наперекор жрецам, подсматриваешь нечто такое, чего ни богомольцу, ни туристу видеть не следует, я старался схватить взглядом отражение этого лепестка, которое значительно быстрее, чем он падал, поднималось к нему навстречу; и было страшно, что фокус не выйдет, что благословленное жрецами масло не загорится, что отражение промахнется, и лепесток без него поплывет по течению; но всякий раз очарованное соединение удавалось, — с точностью слов поэта, которые встречают на полпути его или читательское воспоминание.

5

Вновь посетив Англию после семнадцатилетнего перерыва, я допустил грубую ошибку, а именно отправился в Кембридж не в тихо сияющий майский день, а под ледяным февральским дождем, который всего лишь напомнил мне мою старую тоску по родине.

Милорд Бомстон, теперь профессор Бомстон, с рассеянным видом повел меня завтракать в ресторан, который я хорошо знал и который должен был бы обдать меня воспоминаниями, но переменилась вся обстановка, даже потолок перекрасили, и окно в памяти не отворилось. Бомстон бросил курить. Его черты смягчились, его мысли полиняли. В этот день его занимало какое-то совершенно постороннее обстоятельство (что-то насчет его незамужней сестры, жившей у него в экономках, — она кажется заболела, и ее должны были оперировать в этот день), и, как бывает у однодумов, эта побочная забота явно мешала ему хорошенько сосредоточиться на том очень важном и спешном деле, в котором я так надеялся на его совет. Мебель была другая, форма у продавщиц была другая, без тех фиолетовых бантов в волосах, и ни одна из них не была и наполовину столь привлекательна, как та, в пыльном луче прошлого, которую я так живо помнил. Разговор разваливался, и Бомстон уцепился за политику. Дело было уже в конце тридцатых годов, и бывшие попутчики из эстетов теперь поносили Сталина (перед которым, впрочем, им еще предстояло умилиться в пору Второй мировой войны). В свое время, в начале двадцатых годов, Бомстон, по невежеству своему, принимал собственный восторженный идеализм за нечто романтическое и гуманное в мерзостном ленинском режиме. Теперь, в не менее мерзостное царствование Сталина, он опять ошибался, ибо принимал количественное расширение своих знаний за какую-то качественную перемену к худшему в эволюции советской власти. Гром «чисток», который ударил в «старых большевиков», героев его юности, потряс Бомстона до глубины души, чего в молодости, во дни Ленина, не могли сделать с ним никакие стоны из Соловков и с Лубянки. С ужасом и отвращением он теперь произносил имена Ежова и Ягоды, но совершенно не помнил их предшественников, Урицкого и Дзержинского. Между тем как время исправило его взгляд на текущие советские дела, ему не приходило в голову пересмотреть и может быть осудить восторженные и невежественные предубеждения его юности: оглядываясь на короткую ленинскую эру, он все видел в ней нечто вроде quinquennium Neronis

(Нероновское пятилетие (лат.)).

Бомстон посмотрел на часы, и я посмотрел на часы тоже, и мы расстались, и я пошел бродить под дождем по городу, а затем посетил знаменитый парк моего бывшего колледжа, и в черных ильмах нашел знакомых галок, а в дымчато-бисерной траве — первые крокусы, словно крашенные посредством пасхальной химии.

Снова гуляя под этими столь воспетыми деревьями, я тщетно пытался достичь по отношению к своим студенческим годам того же пронзительного и трепетного чувства прошлого, которое тогда, в те годы, я испытывал к своему отрочеству.

Ненастный день сузился до бледно-желтой полоски на сером западе, когда, решив перед отъездом посетить моего старого тютора Гаррисона, я направился через знакомый двор, где в тумане проходили призраки в черных плащах. Я поднялся по знакомой лестнице, узнавая подробности, которых не вспоминал семнадцать лет, и автоматически постучал в знакомую дверь.

Только тут я подумал, что напрасно я не узнал у Бомстона, не умер ли Гаррисон, — но он не умер, на мой стук отозвался издалека знакомый голос. «Не знаю, помните ли вы меня», — начал я, идя через кабинет к тому месту, где он сидел у камина. «Кто же вы? — произнес он, медленно поворачиваясь в своем низком кресле. — Я как будто не совсем…». Тут, с отвратительным треском и хрустом, я вступил в поднос с чайной посудой, стоявшей на ковре у его кресла. «Да, конечно, — сказал Гаррисон, — конечно, я вас помню».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Спираль-одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным.

Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада в сущности выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завой следуют один за другим, и каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии. Возьмем простейшую спираль, т. е. такую, которая состоит из трех загибов или дуг. Назовем тезисом первую дугу, с которой известный Яремич, который заставлял меня посмелее и дуга покрупнее, которая противополагается первой, продолжая ее; синтезом же будет та, еще более крупная, дуга, которая продолжает предыдущую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба.

Цветная спираль в стеклянном шарике — вот модель моей жизни. Дуга тезиса — это мой двадцатилетний русский период (1899–1919). Антитезисом служит пора эмиграции (1919–1940), проведенная в Западной Европе. Те четырнадцать лет (1940–1954), которые я провел уже на новой моей родине, намечают как будто начавшийся синтез. Позвольте мне заняться антитезисом. Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Но увы, призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы беспечно скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали; студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто собственно бесплотный пленник и кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт д'идантите (Удостоверение личности (франц. carte d identitй)), ибо тогда немедленно жадный бюрократический ад норовил засосать просителя, и он изнывал и чах, пока пухли

его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников. Бледно-зеленый несчастный нансенский паспорт был хуже волчьего билета; переезд из одной страны в другую был сопряжен с фантастическими затруднениями и задержками. Английские, немецкие, французские власти где-то, в мутной глубине своих гланд, хранили интересную идейку, что, как бы дескать плоха ни была исходная страна (в данном случае, советская Россия), всякий беглец из своей страны должен априори считаться презренным и подозрительным, ибо он существует вне какой-либо национальной администрации. Не все русские эмигранты, конечно, кротко соглашались быть изгоями и привидениями. Некоторым из нас сладко вспоминать, как мы осаживали или обманывали всяких высших чиновников, гнусных крыс, в разных министерствах, префектурах и полицейпрезидиумах.

2

Американские мои друзья явно не верят мне, когда я рассказываю, что за пятнадцать лет жизни в Германии я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. Перебирая в памяти мои очень немногие и совершенно случайные встречи с берлинскими туземцами, я выделил в английской версии этих заметок немецкого студента, которому я кажется исправлял какие-то письма, посылавшиеся им кузине в Америку. Это был тихий, приличный, благополучный молодой человек в очках, изучавший гуманитарные науки в университете. Кто только ни измывался в Эпоху Разума над собирателями бабочек — тут и Лабрюйер в шестом издании (1691) своих «Характеров», презрительно отмечающий, что иной модник любит насекомых и рыдает над умершей гусеницей, тут и пудреные англичане Гей и Поп, небрежно упоминающие в стихах о глуповатых философах, доводящих науку до абсурда тем, что гоняются за красивыми насекомыми, которых столь ценят любознательные немцы. И вот интересно, что бы сказали эти моралисты о коньке молодого немца моего улова в 1930-ом году: он коллекционировал фотографические снимки казней. Уже при второй встрече он показал мне купленную им серию («Einbischen retouchiert» («Немножко отретушировано» (нем.).), — грустно сказал он, наморщив веснушчатый нос), изображавшую разные моменты заурядной декапитации в Китае; он с большим знанием дела указывал на красоту роковой сабли и на прекрасную атмосферу той полной кооперативности между палачом и пациентом, которая, на очень ясном снимке, заканчивалась феноменальным гейзером дымчато-серой крови. Небольшое состояние позволяло молодому собирателю довольно много разъезжать. Он жаловался, впрочем, что ему не везет. На Балканах он присутствовал при двух-трех посредственных повешениях, а на Бульваре Араго в пленительном Париже на широко рекламированной, но оказавшейся весьма убогой и механической «гильотинаде» (как он выражался, думая, что это по-французски); как-то всегда так выходило, что ему было плохо видно, пропадали детали, и не удавалось ничего интересного снять дорогим аппаратиком, спрятанным в рукаве макинтоша. Несмотря на сильнейшую простуду, он недавно ездил в Регенсбург, где казнь совершалась по старинке, при помощи топора; он ожидал многого от этого зрелища, но, к величайшему разочарованию, осужденному по-

видимому дали наркотическое средство, вследствие чего дурень едва реагировал, только вяло шлепался об землю, борясь с неловкими, падающими на него, помощниками палача. Дитрих, так звали молодого любителя, надеялся когда-нибудь попасть в Америку, чтобы посмотреть электро-куцию, и, мечтательно хмурясь, спрашивал себя, неужели правда, что во время этой операции сенсационные облачки дыма выходят из природных отверстий содрогающегося тела. При третьей и к сожалению последней встрече (сколько еще было штрихов в этом Дитрихе, которые мне хотелось добрать и сохранить для писательских нужд!) он, не сердясь-хотя было на что сердиться, — а напротив, с кроткой печалью, рассказал, что недавно провел целую ночь, терпеливо наблюдая за приятелем, который решил покончить с собой и после некоторых уговоров согласился проделать это в присутствии Дитриха, но увы, приятель оказался бесчестным обманщиком и, вместо того, чтобы выстрелить себе в рот, как было обещано, грубо напился и к утру был в самом наглом настроении — хохотал и брился. Я давно потерял из виду милого Дитриха, но вполне ясно представляю себе выражение совершенного удовлетворения и облегчения («…наконец-то…») в его светлых форелевых глазах, когда он нынче, в гемютном (Уютном (от нем. gemьtlich)) немецком городке, избежавшем бомбежки, в кругу других ветеранов гитлеровских походов и опытов, демонстрирует друзьям, которые с гоготом добродушного восхищения («Дизер Дитрих!») бьют себя ладонью по ляжке, те абсолютно вундербар (Чудесные (нем. wunderbar).) фотографии, которые так неожиданно, и дешево, ему за те годы посчастливилось снять.

3

Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни (1922–1937), издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал. Сначала эмигрантских гонораров не могло хватать на жизнь. Я усердно давал уроки английского и французского, а также и тенниса. Много переводил-начиная с «Alice in Wonderland» («Алиса в Стране чудес» (англ.).) (за русскую версию которой получил пять долларов) и кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов.

Однажды, в двадцатых годах, я составил для «Руля» новинку — шараду, вроде тех, которые появлялись в лондонских газетах, — и тогда-то я и придумал новое слово «крестословица», столь крепко вошедшее в обиход.

О «Руле» вспоминаю с большой благодарностью. Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. Задолго до того. как в его же издательстве стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством мне давал питать «Руль» незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокружение, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России, — все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. близко подносил лист к лицу.

Уже к концу двадцатых годов стали приносить приличные деньги переводные права моих книг, и в 1929-ом году мы с тобой поехали ловить бабочек в Пиренеях, В конце тридцатых годов мы и вовсе покинули Германию, а до того, в течение нескольких лет, я навещал Париж для публичных чтений и тогда обычно стоял у Ильи Исидоровича Фондаминского. Политические и религиозные его интересы мне были чужды, нрав и навыки были у нас совершенно различные, мою литературу он больше принимал на веру, — и все это не имело никакого значения. Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением. Одно время я жил у него в маленьком будуаре рядом со столовой, где часто происходили по вечерам собрания, на которые хозяин благоразумно меня не пускал.

Замешкав с уходом, я иногда невольно попадал в положение пленного подслушивателя; помнится, однажды двое литераторов, спозаранку явившихся в эту соседнюю столовую, заговорили обо мне. «Что, были вчера на вечере Сирина?». «Был». «Ну, как?».

«Да так, знаете-». Диалог к сожалению прервал третий гость, вошедший с приветствием: «Вонжу р, мсье-дам»: почему-то

выражения, свойственные французским почтальонам, казались нашим поэтам тонкостями парижского стиля. Русских литераторов набралось за границей чрезвычайно много, и я знавал среди них людей бескорыстных и героических. Но были в Париже и особые группы, и там не все могли сойти за Алеш Карамазовых.

Даровитый, но безответственный глава одной такой группировки совмещал лирику и расчет, интуицию и невежество, бледную немочь искусственных катакомб и роскошную античную томность. В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды, — и меня туда не тянуло. Кроме беллетристики и стихов, я писал одно время посредственные критические заметки, — кстати хочу тут покаяться, что слишком придрался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств. С писателями я видался мало. Однажды с Цветаевой совершил странную лирическую прогулку, в 1923-ем году, что ли, при сильном весеннем ветре, по каким-то парижским холмам. В тридцатых годах помню Куприна, под дождем и желтыми листьями поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина.

Ремизова, необыкновенной наружностью напоминавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки, я почему-то встречал только во французских кругах, на скучнейших сборищах Nouvelle Revue Fransaise, и раз Paulhan зазвал его и меня на загородную дачу какого-то мецената, одного из тех несчастных дойных господ, которые, Чтоб печататься, должны платить да платить.

Душевную приязнь, чувство душевного удобства возбуждали во мне очень немногие из моих собратьев. Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования. Я хорошо знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых правил, которого я уважал, как критика, терзавшего Брюсовых и Горьких в прошлом. Я очень сошелся с Ходасевичем, поэтический гений которого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страшной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало влиятельных врагов. Вижу его так отчетливо, сидящим со скрещенными худыми ногами у стола и вправляющим длинными пальцами половинку «Зеленого Капораля» в мундштук.

Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит. Когда я с ним познакомился в эмиграции, он

только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть, — и он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на тридцать лет старше.

Помнится, он пригласил меня в какой-то — вероятно дорогой и хороший — ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки — и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», — сказал он мне, когда мы направились к вешалкам. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объятьях, на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться — он теперь старался помочь мне, — мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекосилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающе-шутливый тон, — и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи.

4

В продолжение двадцати лет эмигрантской жизни в Европе я посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач. Это сложное, восхитительное и никчемное искусство стоит особняком: с обыкновенной игрой, с борьбой на доске, оно связано только в том смысле, как скажем одинаковыми свойствами шара пользуется и жонглер, чтобы выработать в воздухе свой хрупкий художественный космос, и теннисист, чтобы как можно скорее и основательнее разгромить противника. Характерно, что шахматные игроки — равно простые любители и гроссмейстеры — мало интересуются этими изящными и причудливыми головоломками и, хотя чувствуют прелесть хитрой задачи, совершенно неспособны задачу сочинить.

Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то сборному, музыкально-математически-поэтическому типу. Бывало, в течение мирного дня, промеж двух пустых дел, в кильватере случайно проплывшей мысли, внезапно, без всякого предупреждения, я чувствовал приятное содрогание в мозгу, где намечался зачаток шахматной композиции, обещавшей мне ночь труда и отрады.

Внезапный проблеск мог относиться, например, к новому способу слить в стратегическую схему такую-то засаду с такой-то защитой: или же перед глазами на миг появлялось в стилизованном, и потому неполном, виде, расположение фигур, которое должно было выразить труднейшую тему, до того казавшуюся невоплотимой. Но чаще всего это было просто движение в тумане, маневр привидений, быстрая пантомима, и в ней участвовали не резные фигуры, а бесплотные силовые единицы, которые, вибрируя, входили в оригинальные столкновения и союзы.

Ощущение было, повторяю, очень сладостное, и единственное мое возражение против шахматных композиций — это то, что я ради них загубил столько часов, которые тогда, в мои наиболее плодотворные, кипучие годы, я беспечно отнимал у писательства.

Знатоки различают несколько школ задачного искусства: англо-американская сочетает чистоту конструкции с ослепительным тематическим вымыслом; сказочным чем-то поражают оригинально-уродливые трехходовки готической школы; неприятны своей пустотой и ложным лоском произведения чешских композиторов, ограничивших себя искусственными правилами; в свое время Россия изобрела

гениальные этюды, ныне же прилежно занимается механическим нагромождением серых тем в порядке ударного перевыполнения бездарных заданий. Меня лично пленяли в задачах миражи и обманы, доведенные до дьявольской тонкости, и, хотя в вопросах конструкции я старался по мере возможности держаться классических правил, как например единство, чеканность, экономия сил, я всегда был готов пожертвовать чистотой рассудочной формы требованиям фантастического содержания.

Одно-загореться задачной идеей, другое-построить ее на доске. Умственное напряжение доходит до бредовой крайности; понятие времени выпадает из сознания: рука строителя нашаривает в коробке нужную пешку, сжимает ее, пока мысль колеблется, нужна ли тут затычка, можно ли обойтись без преграды, — и. когда разжимается кулак, оказывается, что прошло с час времени, истлевшего в накаленном до сияния мозгу составителя. Постепенно доска перед ним становится магнитным полем, звездным небом, сложным и точным прибором, системой нажимов и вспышек.

Прожекторами двигаются через нее слоны. Конь превращается в рычаг, который пробуешь и прилаживаешь, и пробуешь опять, доводя композицию до той точки, в которой чувство неожиданности должно слиться с чувством эстетического удовлетворения. Как мучительна бывала борьба с ферзем белых, когда нужно было ограничить его мощь во избежание двойного решения! Дело в том, что соревнование в шахматных задачах происходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком (подобно тому, как в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом м читателем), а петому значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества «иллюзорных решений», — всяких обманчиво-сильных первых ходов, ложных следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных автором, чтобы поддельной нитью лже-Ариадны опутать вошедшего в лабиринт. Но чего бы я ни сказал о задачном творчестве, я вряд ли бы мог до конца объяснить блаженную суть работы. В этом творчестве есть точки соприкосновения с сочинительством и в особенности с писанием тех невероятно сложных по замыслу рассказов, где автор в состоянии ясного ледяного безумия ставит себе единственные в своем роде правила и преграды, преодоление которых и дает чудотворный толчок к оживлению всего создания, к переходу его от граней кристалла к живым клеткам. Когда же составление задачи подходит к концу и точеные фигуры, уже зримые и нарядные, являются на генеральную репетицию авторской мечты,

мучение заменяется чувством чуть ли не физической услады, в состав которого входит между прочим то безымянное ощущение «ладности», столь знакомое ребенку, когда он в постели мысленно проходит — не урок, а подробный образ завтрашней забавы, и чувствует, как очертания воображенной игрушки удивительно точно и приятно прилаживаются к соответствующим уголкам и лункам в мозгу. В расставлении задачи есть та же приятность: гладко и удобно одна фигура заходит за другую, чтобы в тени и тайне тонкой засады заполнить квадрат, и есть приятное скольжение хорошо смазанной и отполированной машинной части, легко и отчетливо двигающейся так и эдак под пальцами, поднимающими и опускающими фигуру.

Мне вспоминается одна определенная задача, лучшее мое произведение, над которым я работал в продолжение двух-трех месяцев весной 1940-го года в темном оцепеневшем Париже.

Настала наконец та ночь, когда мне удалось воспроизвести диковинную тему, над которой я бился. Попробую эту тему объяснить не знающему шахмат читателю.

Те, кто вообще решает шахматные задачи, делятся на простаков, умников и мудрецов, — или иначе говоря, на разгадчиков начинающих, опытных и изощренных. Моя задача была обращена к изощренному мудрецу. Простак-новичок совершенно бы не заметил ее пуанты и довольно скоро нашел бы ее решение, минуя те замысловатые мучения, которые в ней ожидали опытного умника; ибо этот опытный умник пренебрег бы простотой и попал бы в узор иллюзорного решения, в «блестящую» паутину ходов, основанных на теме, весьма модной и «передовой» в задачном искусстве (состоящей в том, чтобы в процессе победы над черными белый король парадоксально подвергался шаху); но это передовое «решение», которое очень тщательно, со множеством интересных вариантов, автор подложил разгадчику, совершенно уничтожалось скромным до нелепости ходом едва заметной пешки черных. Умник, пройдя через этот адский лабиринт, становился мудрецом и только тогда добирался до простого ключа задачи, вроде того, как если бы кто искал кратчайший путь из Питтсбурга в Нью-Йорк н был шутником послан туда через Канзас, Калифорнию, Азию, Северную Африку и Азорские острова. Интересные дорожные впечатления, веллингтонии, тигры, гонги, всякие красочные местные обычаи (например, свадьба где-нибудь в Индии, когда жених и невеста трижды обходят священный огонь в земляной жаровне, — особенно если человек этнограф) с лихвой возмещают постаревшему путешественнику досаду, и, после всех приключений, простой ключ доставляет мудрецу художественное

удовольствие.

Помню, как я медленно выплыл из обморока шахматной мысли, и вот, на громадной английской сафьяновой доске в бланжевую и красную клетку, безупречное положение было сбалансировано, как созвездие. Задача действовала, задача жила. Мои Staunton'ские шахматы (в 1920-ом году дядя Константин подарил их моему отцу), великолепные массивные фигуры на байковых подошвах, отягощенные свинцом, с пешками в шесть сантиметров ростом и королями почти в десять, важно сияли лаковыми выпуклостями, как бы сознавая свою роль на доске. За такой же доской, как раз уместившейся на низком столике, сидели Лев Толстой и А. Б. Гольденвейзер 6-го ноября 1904-го года по старому стилю (рисунок Морозова, ныне в Толстовском Музее в Москве), и рядом с ними, на круглом столе под лампой, виден не только открытый ящик для фигур, но и бумажный ярлычок (с подписью Staunton), приклеенный к внутренней стороне крышки. Увы, если присмотреться к моим двадцатилетним (в 1940-ом году) фигурам, можно было заметить, что отлетел кончик уха у одного из коней, и основания у двух-трех пешек чуть подломаны, как край гриба, ибо много и далеко я их возил, сменив больше пятидесяти квартир за мои европейские годы; но на верхушке королевской ладьи и на челе королевского коня все еще сохранился рисунок красной коронки, вроде круглого знака на лбу у счастливого индуса.

Мои часы — ручеек времени по сравнению с оледенелым его озером на доске — показывали половину третьего утра. Дело было в мае-около 19-го мая 1940-го года. Накануне, после нескольких месяцев ходатайств, просьб и брани, удалось впрыснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе, и этим заставить ее выделить нужную visa de sortie (Выездную визу (франц.)), которая в свою очередь давала возможность получить разрешение на въезд в Америку. Глядя на мою шахматную задачу, я вдруг почувствовал, что с окончанием работы над ней целому периоду моей жизни благополучно пришел конец. Кроме скуки и отвращения, Европа не возбуждала во мне ничего. Кругом было очень тихо. Облегчение, которое я испытывал, придавало тишине некоторую нежность.

Из-под дивана выглядывал игрушечный грузовичок, В соседней комнате ты и наш маленький сын мирно спали. Лампа на столе была в чепце из голубой сахарной бумаги (военная предосторожность), и вследствие этого электрический свет окрашивал лепной от табачного дыма воздух в лунные оттенки. Непроницаемые занавески отделяли меня от притушенного Парижа. Лежавшая на диване газета сообщала крупными

литерами о нападении Германии на Голландию.

Передо мной лист скверной бумаги, на котором в ту лилово-черную парижскую ночь я нарисовал диаграмму моей задачи.

Белые: Король, a7; Ферзь, Ь6; Ладьи, f4 и Ь5; Слоны, e4 и Ь8; Кони, d8 и e6; Пешки, Ь7 и g3. Черные: Король, e5; Ладья, g7; Слон, h6; Кони, e2 и g5; Пешки, e3, c6, d7. Белые начинают и дают мат в два хода. Решение дано в следующей главе. Ложный же след, иллюзорная комбинация: пешка идет на Ь8 и превращается в коня, после чего белые тремя разными, очаровательными матами отвечают на три по-разному раскрытых шаха черных; но черные разрушают всю эту блестящую комбинацию тем, что, вместо шахов, делают маленький, никчемный с виду, выжидательный ход в другом месте доски. В одном углу листа с диаграммой стоит тот же штемпель, которым чья-то неутомимая и бездельная рука украсила все книги, все бумаги, вывезенные мной из Франции в мае 1940-го года. Это— круглый пуговичный штемпель, и цвет его-последнее слово спектра: violet de bureau (Канцелярская лиловизна (франи.).). В центре видны две прописные буквы, большое «R» и большое «F», инициалы Французской Республики. Из других букв, несколько меньшего формата, составляются по периферии штемпеля интересные слова «Contrfle des Informations». Эту тайную информацию я теперь могу обнародовать.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

«О, как гаснут-по-степи, по-степи, удаляясь, годы!» Годы гаснут, мой Друг, и, когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я. Наш сын растет; розы Пестума, туманного Пестума, отцвели; люди неумные, с большими способностями к математике, лихо добираются до тайных сил природы, которые кроткие, в ореоле седин, и тоже не очень далекие физики предсказали (к тайному своему удивлению), А потому пожалуй пора, мой друг, просмотреть древние снимочки, пещерные рисунки поездов и аэропланов, залежи игрушек в чулане.

Заглянем еще дальше, а именно вернемся к майскому утру в 1934-ом году, в Берлине. Мы ожидали ребенка. Я отвез тебя в больницу около Байришер Плац и в пять часов утра шел домой, в Груневальд, Весенние цветы украшали крашеные фотографии Гинденбурга и Гитлера в витринах рамочных и цветочных магазинов. Левацкие группы воробьев устраивали громкие собрания в сиреневых кустах палисадников и в притротуарных липах.

Прозрачный рассвет совершенно обнажил одну сторону улицы, другая же сторона вся еще синела от холода. Тени разной длины постепенно сокращались, и свежо пахло асфальтом. В чистоте и пустоте незнакомого часа тени лежали с непривычной стороны, получалась полная перестановка, не лишенная некоторого изящества, вроде того, как отражается в зеркале у парикмахера отрезок панели с беспечными прохожими, уходящими в отвлеченный мир, — который вдруг перестает быть забавным и обдает душу волною ужаса. Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиусы от этой любви, от нежного ядра личного чувства к чудовищно ускользающим точкам вселенной.

Что-то заставляет меня как можно сознательнее примеривать личную любовь к безличным и неизмеримым величинам, — к пустотам между звезд, к туманностям (самая отдаленность коих уже есть род безумия), к ужасным западням вечности, ко всей этой беспомощности, холоду, головокружению, крутизнам времени и пространства, непонятным образом переходящим одно в другое. Так в бессонную ночь раздражаешь нежный кончик языка, без конца проверяя острую грань сломавшегося зуба, — или вот еще, коснувшись чего-нибудь, — дверного косяка, стены, — должен невольно пройти через целый строй прикосновений к разным плоскостям в комнате, прежде чем привести свою жизнь в прежнее равновесие. Тут ничего не

поделаешь — я должен осознать план местности и как бы отпечатать себя на нем. Когда этот замедленный и беззвучный взрыв любви происходит во мне, разворачивая свои тающие края и обволакивая меня сознанием чего-то значительно более настоящего, нетленного и мощного, чем весь набор вещества и энергии в любом космосе, тогда я мысленно должен себя ущипнуть, не спит ли мой разум. Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, сделать все пространство и время соучастниками в моем смертном чувстве любви, дабы, как боль, смертность унять и помочь себе в борьбе с глупостью и ужасом этого унизительного положения, в котором я, человек, мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования.

Так как в метафизических вопросах я враг всяких объединений и не желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропоморфическим парадизам, мне приходится полагаться на собственные свои слабые силы, когда думаю о лучших своих переживаниях; о страстной заботе, переходящей почти в куваду, с которой я отнесся к нашему ребенку с первого же мгновения его появления на свет. Вспомним все наши открытия (есть такая idйe resue: (Общее место (франц.)) «все родители делают эти открытия»): идеальную форму миниатюрных ногтей на младенческой руке, которую ты мне без слов показывала у себя на ладони, где она лежала, как отливом оставленная маленькая морская звезда; эпидерму ноги или щеки, которую ты предлагала моему вниманию дымчато-отдаленным голосом, точно нежность осязания могла быть передана только нежностью живописной дали; расплывчатое, ускользающее нечто в синем оттенке радужной оболочки глаза, удержавшей как будто тени, впитанные в древних баснословных лесах, где было больше птиц, чем тигров, больше плодов, чем шипов, и где, в пестрой глубине зародился человеческий разум; а также первое путешествие младенца в следующее измерение, новую связь, установившуюся между глазом и предметом, таинственную связь, которую думают объяснить те бездарности, которые делают «научную карьеру» при помощи лабиринтов с тренированными крысами.

2

Ближайшее подобие зарождения разума (и в человеческом роде и в особи) мне кажется можно найти в том дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое. Для того, чтобы объяснить начальное цветение человеческого рассудка, мне кажется, следует предположить паузу в эволюции природы, животворную минуту лени и неги. Борьба за существование — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. Мы с тобой часто со смехом отмечали маньякальный блеск в глазу у хозяйственной дамы, когда в пищевых и распределительных замыслах она этим стеклянистым взглядом блуждает по моргу мясной. Пролетарии, разъединяйтесь!

Старые книги ошибаются, Мир был создан в день отдыха.

В годы младенчества нашего мальчика, в Германии громкого Гитлера и во Франции молчаливого Мажино, мы вечно нуждались в деньгах, но добрые друзья не забывали снабжать нашего сына всем самым лучшим, что можно было достать. Хотя сами мы были бессильны, мы с беспокойством следили, чтобы не наметилось разрыва между вещественными благами в его младенчестве и нашем.

Впрочем, наука выращивания младенцев сделала невероятные успехи: в девять месяцев я, например, не получал на обед целого фунта протертого шпината, не получал сок от дюжины апельсинов в один день: и тобою заведенная педиатрическая рутина была несравненно художественнее и тщательнее, чем все, что могли бы придумать няньки и бонны нашего детства.

Обобщенный буржуа прежних дней, патер фамилиас прежнего формата, вряд ли бы понял отношение к ребенку со стороны свободного, счастливого и нищего эмигранта. Когда бывало ты поднимала его, напитанного теплой кашицей и важного как идол, и держала его в ожидании рыжка, прежде чем превратить вертикального ребенка в горизонтального, я участвовал и в терпеливости твоего ожидания и в стесненности его насыщенности, преувеличивая и то и другое, а потому испытывал восхитительное облегчение, когда тупой пузырек поднимался и лопался, и ты с поздравительным шепотом низко нагибалась, чтобы опустить младенца в белые сумерки постельки, Я до сих пор чувствую в кистях рук отзывы той профессиональной сморовки, того движения, когда надо было легко и ловко вжать

поручни, чтобы передние колеса коляски, в которой я его катал по улицам, поднялись с асфальта на тротуар. У него сначала был великолепный, мышиного цвета, бельгийский экипажик, с толстыми, чуть ли не автомобильными, шинами, такой большой, что не входил в наш мозгливый лифт; этот экипажик плыл по панели с пленным младенцем, лежащим навзничь под пухом, шелком и мехом: только его зрачки двигались, выжидательно, и порою обращались кверху с быстрым взмахом нарядных ресниц, дабы проследить за скользившей в узорах ветвей голубизной, а затем он бросал на меня подозрительный взгляд, как бы желая узнать, не принадлежат ли эти дразнящие узоры листвы и неба к тому же порядку вещей, как его погремушки и родительский юмор. За колымагой последовала более легкая беленькая повозка, и в ней он пытался встать, натягивая до отказа ремни. Он добирался до борта и с любопытством философа смотрел на выброшенную им подушку, и однажды сам выпал, когда лопнул ремень. Еще позже я катал его в особом стульчике на двух колесах (маль-постике): с первоначально упругих и верных высот ребенок спустился совсем низко и теперь, в полтора года, мог коснуться земли, съезжая с сиденья мальпостика и стуча по панели каблучками в предвкушении отпуска на свободу в городском саду. Вздулась новая волна эволюции и опять (начала его поднимать, В два года, на рождение, он полу-чил, серебряной краской выкрашенную, алюминиевую модель гоночного «Мерседеса» в два аршина длины, которая подвигалась при помощи двух органных педалей под ногами, и в этой сверкающей машине, чудным летом, полуголый, загорелый, золотоволосый, он мчался по тротуарам Курфюрстендама, с насосными и гремящими звуками, работая ножками, виртуозно орудуя рулем, а я бежал сзади, и из всех открытых окон доносился хриплый рев диктатора, бившего себя в грудь, нечленораздельно ораторствовавшего в Неандертальской долине, которую мы с сыном оставили далеко позади, Вместо дурацких и дурных фрейдистических опытов с кукольными домами и куколками в них («Что ж твои родители делают в спальне, Жоржик?»), стоило бы может быть психологам постараться выяснить исторические фазы той страсти, которую дети испытывают к колесам. Мы все знаем, конечно, как венский шарлатан объяснял интерес мальчиков к поездам. Мы оставим его и его попутчиков трястись в третьем классе науки через тоталитарное государство полового мифа (какую ошибку совершают диктаторы, игнорируя психоанализ, которым целые поколения можно было бы развратить). Молодой рост, стремительность мысли, американские горы кровообращения, все виды жизненности, суть

виды скорости, и неудивительно, что развивающийся ребенок хочет перегнать природу и наполнить минимальный отрезок времени максимальным пространственным наслаждением. Глубоко в человеческом духе заложена способность находить удовольствие в преодолении земной тяги. Но чем бы любовь к колесу ни объяснялась, мы с тобой будем вечно держать и защищать, на этом ли или на другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с двухлетним, трехлетним, четырехлетним сыном в ожидании поезда. С безграничным оптимизмом он надеялся, что щелкнет семафор, и вырастет локомотив из точки вдали, где столько сливалось рельс между черными спинами домов. В холодные дни на нем было мерлушковое пальтецо с такой же ушастой шапочкой, и то и другое пестроватого коричневого цвета с инеистым оттенком, и эта оболочка и жар его веры в паровоз держали его в плотном тепле и согревали тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только зажать то один, то другой кулачок в своей руке, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить эта печка — тело крупного дитяти.

3

Еще есть в каждом ребенке стремление к перелепке земли, к прямому влиянию на сыпучую среду. Вот почему дети так любят копаться в песке, строить шоссе и туннели для любимых игрушек, У него было больше ста маленьких автомобилей, и он брал то один, то другой с собой в сквер: солнце придавало медовый оттенок его голой спине, на которой скрещивались бридочки его вязаных, темно-синих штанишек (при погружении в вечернюю ванну этот икс бридочек и штанишки были представлены соответствующим узором белизны). Никогда прежде я так много не сиживал на стольких скамьях и садовых стульях, каменных тумбах и ступенях, парапетах террас и бортах бассейнов. Сердобольные немки принимали меня за безработного. Пресловутый сосновый лес вокруг Груневальдского озера мы посещали редко: слишком в нем было много мусора и отбросов, и не совсем понятно было, кто мог потрудиться принести так далеко эти тяжелые вещи — железную кровать, стоящую посреди прогалины, или разбитый параличом гипсовый бюст под кустом шиповника. Однажды я даже нашел в чаще стенное зеркало, несколько обезображенное, но еще бодрое, прислоненное к стволу и как бы даже льяное от смеси солнца и зелени, пива и шартреза. Может быть эти сюрреалистические вторжения в бюргерские места отдыха были обрывочными пророческими грезами будущих неурядиц и взрывов, вроде той кучи голоз, которую Калиостро провидел в Версальской канаве. Поближе к озеру в летние воскресенья все кишело телами в разной стадии оголенности и загорелости. Только белки и некоторые гусеницы оставались в пальто. Сероногие женщины в исподнем белье сидели на жирном сером песке, мужчины, одетые в грязные от ила купальные трусики, гонялись друг за другом. В скверах города воспрещалось раздеваться, но разрешалось расстегнуть две-три пуговки рубашки, и можно было видеть на каждой скамейке молодых людей с ярко выраженным арийским типом, которые, закрыв глаза, подставляли под одобренное правительством солнце прыщавые лбы.

Брезгливое и может быть преувеличенное содрогание, отразившееся в этих заметках, вероятно результат нашей постоянной боязни, чтоб наш ребенок чем-нибудь не заразился. Ты не только содержала его в идеальной чистоте, но еще научила его сыздетства чистоту эту любить. Нас всегда бесило общепринятое и не лишенное мещанского привкуса мнение, что настоящий мальчик должен ненавидеть мытье.

Мне бы хотелось вспомнить все те скверы, где мы с ним сидели. Вызывая в памяти тот или другой образ, я часто могу определить географическое положение садика по двум-трем чертам.

Очень узкие дорожки, усыпанные гравием, окаймленные карликовым буксом и все встречающиеся друг с дружкой, как персонажи в комедии; низкая, кубовой окраски, скамья с тисовой, кубической формы, живой изгородью сзади и с боков; квадратная клумба роз в раме гелиотропа — эти подробности явно связаны с небольшими скверами на берлинских перекрестках. Столь же очевидно, стул из тонкого железа с паукообразной тенью под ним, слегка смещенной с центра, и грациозная вращательная кропилка с собственной радугой, висящей над влажной травой, означают для меня парк в Париже; но, как ты хорошо понимаешь, глаза Мнемозины настолько пристально направлены на маленькую фигуру (сидящую на корточках, нагружающую игрушечный возок камушками или рассматривающую блестящую мокрую кишку, к которой интересно пристало немножко того цветного гравия, по которой она только что проползла), что разнообразные наши места жительства — Берлин, Прага, Франценсбад, Париж, Ривьера и так далее — теряют свое суверенство, складывают в общий фонд своих окаменелых генералов и свои мертвые листья, общим цементом скрепляют содружество своих тропинок и соединяются в федерации бликов и теней, сквозь которые изящные дети с голыми коленками мечтательно катятся на жужжащих роликах.

Нашему мальчику было около трех лет в тот ветреный день в Берлине, где конечно никто не мог избежать знакомства с вездесущим портретом фюрера, когда я с ним остановился около клумбы бледных анютиных глазок: на личике каждого цветка было темное пятно вроде кляксы усов, и по довольно глупому моему наущению, он с райским смехом узнал в них толпу беснующихся на ветру маленьких Гитлеров. Это было на Фербеллинерплац. Могу также назвать тот цветущий сад в Париже, где я заметил тихую, хилую девочку, без всякого выражения в глазах, одетую в темное убогое нелетнее платье, словно она бежала из сиротского приюта (действительно, немного позже я увидел, как ее увлекали две плавных монахини), которая ловкими пальчиками привязала живую бабочку к ниточке и с пасмурным лицом прогуливала слабо порхающее, слегка подбитое насекомое на этом поводке (верно, приходилось заниматься кропотливой вышивкой в том приюте). Ты часто обвиняла меня в жестокосердии при моих энтомологических исследованиях в Пиренеях и Альпах: и в самом деле, если я

отвлек внимание нашего ребенка от этой хмурой Титании, я это сделал не потому, что проникся жалостью к ее ванессе, а потому, что вдруг вспомнил, как И. И. Фондамин-ский рассказывал мне об очень простом старомодном способе, употребляемом французским полицейским, когда он ведет в часть бунтаря или пьяного, которого превращает в покорного сателлита тем, что держит беднягу при помощи небольшого крючочка, вроде рыбачьего, всаженного в его неходеную, но очень отзывчивую плоть. Стоокой нежностью мы с тобой старались оградить доверчивую нежность нашего мальчика. Но про себя знали, что какая-нибудь гнусная дрянь, нарочно оставленная хулиганом на детской площадке, была еще малейшим из зол, и что ужасы, которые прошлые поколения мысленно отстраняли, как анахронизмы или как нечто, случавшееся только очень далеко, в получеловеческих ханствах и мандаринствах, на самом деле происходили вокруг нас, Когда же тень, бросаемая дурой-историей, стала наконец показываться даже на солнечных часах и мы начали беспокойно странствовать по Европе, было такое чувство, точно эти сады и парки путешествуют вместе с нами. Расходящиеся аллеи Ленотра и его цветники остались позади, как поезда, переведенные на запасной путь. В Праге, куда мы заехали показать нашего сына моей матери, он играл в Стромовке, где за боскетами пленяла взгляд необыкновенно свободная даль. Ты вспомни и те сады со скалами и альпийскими растениями, которые как бы проводили нас в Савойские Альпы. Деревянные руки в манжетах, пригвожденные к древесным стволам в старых парках курортов, указывали в ту сторону, откуда доносились приглушенные звуки духового оркестра. Умная тропка сопутствовала аллее-улице: не всюду идя параллельно с нею, но всегда признавая ее водительство и как дитя вприпрыжку возвращаясь к ней от пруда с утками или бассейна с водяными лилиями, чтобы опять присоединиться к процессии платанов в том пункте, где отцы города разразились статуей. Корни, корни чего-то зеленого в памяти, корни пахучих растений, корни воспоминаний, способны проходить большие расстояния, преодолевая некоторые препятствия, проникая сквозь Другие, пользуясь каждой трещиной. Так эти сады и парки шли с нами через Европу: гравистые дорожки собирались в кружок, чтобы смотреть, как ты нагибалась за мячом, ушедшим под бирючину, но там, на темной сырой земле ничего не было кроме пробитого, лиловатого, автобусного билетика. Круглое сидение пускалось в путь по периферии толстого ствола дуба и находило на другой стороне грустного старика, читающего газету на языке небольшого народа, Лаковые лавры замыкали лужок, где наш

мальчик нашел первую свою живую лягушку, и ты сказала, что будет дождь.

Дальше, под менее свинцовыми небесами, пошел трельяж роз, обращаясь чуть ли не в перголы, опутанные виноградом, и привел к кокетливой публичной уборной сомнительной чистоты, где на пороге прислужница в черном вязала черный чулок. Вниз по склону, плоскими камнями отделанная тропинка, ставя вперед все ту же ногу, пробралась через заросль ирисов и влилась в дорогу, где мягкая земля была вся в отпечатках подков. Сады и парки стали двигаться быстрее по мере того, как удлинялись ноги нашего мальчика; ему было уже три года, когда шествие цветущих кустов решительно повернуло к морю. Как видишь скучного начальника небольшой станции, стоящего в одиночестве на платформе, мимо которого промахивает твой поезд, так тот или другой серый парковый сторож удалялся, стоя на месте, пока ехали наши сады, увлекая нас к югу, к апельсиновым рощам, к цыплячьему пуху мимоз и pbte tendre безоблачного неба. Чередой террас, ступенями, с каждой из которых прыскал яркий кузнечик, сады сошли к морю, причем оливы и олеандры чуть не сбивали друг друга с ног в своем нетерпении увидеть пляж. Там он стоял на коленках, держа вафельный букет мороженого, и так снят на мерцающем фоне: море превратилось на снимке в бельмо, но в действительности оно было серебристо-голубое, с фиалковыми темнотами там и сям. Были похожие на леденцы зеленые, розовые, синие стеклышки, вылизанные волной, и черные камешки с белой перевязью, и раковинки, распадающиеся на две створки, и кусочки глиняной посуды, еще сохранившие цвет и глазурь: эти осколки он приносил нам для оценки, и, если на них были синие шевроны или клеверный крап иди любые другие блестящие эмблемы, они с легким звоном опускались в игрушечное ведро. Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашел в 1903-ем году на том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том же самом Ментонском пляже моя мать нашла в 1685-ом году, и четвертого, найденного ее матерью сто лет тому назад, — и так далее, так что если б можно было собрать всю эту серию глиняных осколков, сложилась бы из них целиком чаша, разбитая итальянским ребенком Бог весть где и когда, но теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок.

Кстати, чтоб не забыть: решение шахматной задачи в предыдущей главе — слон идет на c2.

В мае 1940-го года мы опять увидели море, но уже не на

Ривьере, а в Сен-Назере. Там один последний маленький сквер окружил тебя и меня и шестилетнего сына, идущего между нами, когда мы направлялись к пристани, где еще скрытый домами нас ждал «Шамплен», чтобы унести нас в Америку. Этот последний садик остался у меня в уме, как бесцветный геометрический рисунок или крестословица, которую я мог бы легко заполнить красками и словами, мог бы легко придумать цветы для него, но это значило бы небрежно нарушить чистый ритм Мнемозины, которого я смиренно слушался с самого начала этих замет. Все что помню об этом бесцветном сквере, это его остроумный тематический союз с трансатлантическими садами и парками; ибо вдруг, в ту минуту, когда мы дошли до конца дорожки, ты и я увидели нечто такое, на что мы не тотчас обратили внимание сына, не желая испортить ему изумленной радости самому открыть впереди огромный прототип всех пароходиков, которые он бывало подталкивал, сидя в ванне. Там, перед нами, где прерывчатый ряд домов отделял нас от гавани и где взгляд встречали всякие сорта камуфляжа, как например голубые и розовые сорочки, пляшущие на веревке, или дамский велосипед, почему-то делящий с полосатою кошкой чугунный балкончик, — можно было разглядеть среди хаоса косых и прямых углов выраставшие из-за белья великолепные трубы парохода, несомненные и неотъемлемые, вроде того, как на загадочных картинках, где все нарочно спутано («Найдите, что спрятал матрос»), однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда.